



ПРИЗРАК

МИРОВАЯ КЛАССИКА
GHOST STORIES

Иллюстрации Ивана Иванова

Артур Конан Дойл
Василий Андреевич Жуковский
Михаил Николаевич Загоскин
Александр Дюма
Оскар Уайльд
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Александр Сергеевич Пушкин
Нелли Бриссет
Николай Васильевич Гоголь
Антон Павлович Чехов
Вильгельм Гауф
Владимир Фёдорович Одоевский
Марк Твен
Призрак. Мировая
классика Ghost Stories
Серия «Клуб страха»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69505714

Призрак : мировая классика Ghost Stories / Иллюстрации: И. Иванов:

Феникс; Ростов н/Д; 2023

Аннотация

Мировая классика литературы о призраках во всем многообразии: поэтичный Гауф, загадочный Гофман, забавные призраки Уайльда и Твена, пугающие фантомы Чехова и Гоголя... Вы найдете здесь призрака, созданного гением Пушкина, и привидений, описанных Дюма, Одоевским и Конан Дойлем, встретитесь с мистическими героями незаслуженно забытых произведений Жуковского, Загоскина и Бриссет.

Погрузитесь в мир потустороннего, и вам станет по-настоящему страшно.

Содержание

Владимир Федорович Одоевский	8
Оскар Уайльд	25
Вильгельм Гауф	73
Артур Конан Дойл	90
Артур Конан Дойл	113
Артур Конан Дойл	130
Александр Дюма	142
Вместо предисловия	142
I. Улица Дианы в Фонтенэ	148
II. Переулок Сержан	156
III. Протокол	166
IV. Дом Скаррона	177
V. Пощечина Шарлотте Корде	190
VI. Соланж	203
Конец ознакомительного фрагмента.	209

**Александр Дюма,
Александр Пушкин,
Антон Чехов, Артур
Конан Дойл, Василий
Андреевич Жуковский,
Вильгельм Гауф, Владимир
Одоевский, Марк Твен,
Михаил Загоскин,
Нелли Бриссет, Николай
Гоголь, Оскар Уайльд
Призрак: мировая
классика Ghost Stories**



ФЕНИКС

© Оформление: ООО «Феникс», 2021

© Иллюстрации: И. Иванов, 2021

© В оформлении обложки использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com



Владимир Федорович Одоевский

Привидение

(Из путевых заметок)



...Нас сидело в дилижансе четверо: отставной капитан, начальник отделения, Ириней Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости, изредка принимались спорить, но ненадолго; Ириней Модестович говорил без умолка; всё – мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка – всё подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домо-

вые, бесы и привидения играли первую роль. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, – и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания – а Иринею Модестовичу только того и надо.

– Что это за замок? – спросил отставной капитан, выглядывая из окошка. – Вы, верно, знаете про него какую-нибудь курьезную историю, – прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу.

– Я про него знаю, – отвечал Иринею Модестович, – точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, то есть что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную роль. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами: ведь это все равно – была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части так же рассказывают свои истории; только у них нет моей откровенности.

В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине... Не воображайте тут ничего грешного: соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц; дом ее был похож на все ***ские дома: три, четыре комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной... но не знаю,

было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома, — было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один: в длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные: мы пили чай и играли в бостон; иногда перелистывали журналы; но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме; это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг; не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть; не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь; не сердилась, когда кто из нас в продолжение полугода не являлся в ее гостиную и даже забывал дни ее именин или рождения; не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество ***ских дам нестерпимым; не была ни ханжа, ни суеверна; не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили; не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения; не требовала от вас никаких жертвований; не усаживала насильно за карты или за фортепьяно, — понимала терпимость во всем ее значении;

в ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно; словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в ***ских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марьи Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом.

– Позвольте вас остановить, – сказал начальник отделения. – Как это – будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? Нет, помилуйте, мы сами бываем в наилучших компаниях... я с вами поспорю. Как это можно! Как это можно!..

– Говорят, – отвечал Иринеи Модестович, – что где обращение хозяйки проще, там гостям просторнее и спокойнее, и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения...

– И я того же мнения, – прибавил отставной капитан, – терпеть не могу всех этих вычур! Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевелинись; тоска, да и только! То ли дело, как сойдешься с своим братом: мундир долой, бутылку рома на стол – и пошла потеха...

– Нет, воля ваша, – возразил начальник отделения, – не могу с вами согласиться! Что это такое простота? Простота! Для простоты довольно своего дома; но в свете приятно показать свое обращение, свое умение жить с людьми, умение каждое слово весить на весах, чтоб в каждом вашем слове

можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный...

Ириней Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средство, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор.

— Однако ж этак, — сказал я, — мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Ириней Модестович?..

Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою: начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля, а капитан — что Ириней Модестович одного с ним мнения.

Ириней Модестович продолжал:

— Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не сговариваясь заранее. Должно, однако ж, признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли только в вист, а два другие только в бостон, одни играли в большую, другие в маленькую — и партии не могли состояться.

Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморозью лился ливнем, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиную, кроме ме-

ня, сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором.

Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях.

– Так, я и ждал этого! – вскрикнул начальник отделения. – Без привидений у него не обойдется...

– Нет ничего мудреного! – возразил Ириней Модестович. – Эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозою жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни.

Почтенный чиновник значительно кивнул головою, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириней Модестович продолжал:

– Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде: о людях, являвшихся после смерти; о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже; о танцующих стульях и о прочем тому подобном.

Один из собеседников во все продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание и лишь исподтишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин, уже весьма пожилых лет, был закоснелый волтерьянец старого века; он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства

каким-нибудь стихом из “Epître a Uranie”¹ или из “Discours en vers”² Вольтера и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться. Любимая его поговорка была: «Я верю только в то, что дважды два четыре».

Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливою просьбою рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал:

– Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней: я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение – и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю; но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории. Слушайте ж. Я вам расскажу историю истинную; но быюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом.

Лет тридцать тому назад, – я тогда только что еще вступил в службу, – наш полк остановился в одном местечке; мы бы-

¹ «Послание к Урании» (франц.)

² «Рассуждение в стихах» (франц.)

ли в резерве; носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтоб подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, премилой, веселой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости, вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка, на небольшом возвышении, находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками – словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые, при нынешнем упадке вкуса, опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом.

– Кому принадлежит этот кондитерский пирог? – спросил я однажды у моей хозяйки.

– Моей приятельнице, графине***, – отвечала она. – Она премилая женщина; вам бы надобно познакомиться с нею... Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива, – продолжала хозяйка, – много она вытерпела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека; но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого

нрава; она страстно любила молодого человека и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окруженная толпою ласкателей, привыкшая, в продолжение всей своей жизни, к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным ударом; с одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой, она видела в этом поступке вечное *пятно* своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза; письма ее оставались без ответа; она была в совершенном отчаянии; ничто ее не утешало: ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особливо теперь, когда дело сделано. Так протекло шесть месяцев в непрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время – она была на себя непохожа. Наконец она сделалась беременною. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую роль: они чувствуют живее; всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимою; эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала. «Что бы ни было, – сказала она, – но я брошусь к ногам матушки».

Тщетно мы хотели остановить ее; тщетно мы советовали подождать родин и тогда, вместе с ребенком, предстать раздраженной графине; тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загрубелые, — наши слова не подействовали. Робость превозмогла, и однажды утром, когда еще все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени.

Старая графиня была женщина странная; она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам.

Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а наконец ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери; ее не тронуло ее положение; ее не коснулось материнское чувство — эгоизм торжествовал. «Прочь, — вскричала она. — Я не знаю тебя; проклиная тебя!..» Бедная Мальвина едва не лишилась памяти, но материнское чувство при-

дало ей силы. С трудом, но с выразительностью произнесла она прерывающимся голосом: «Кляните меня... но пощадите моего ребенка...» — «Проклинаю тебя, — повторила раздраженная графиня, — и твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнию!» Бедная Мальвина упала на пол замертво.

Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испугалась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто...

С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целию жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу; но доныне старая графиня почитает себя в долгу пред своею дочерью и старается тешить ее как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграли они процесс в несколько миллионов. Это дало им средство украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там ни найдете: и английский сад, и чудесный стол, и погреб со сто-

летним венгерским, и фонтаны холодной и теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады – рай, одним словом! Балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине: вы будете приняты с восхищением...

Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых, в продолжение полугода, все наслаждения мира ограничивались братскою попойкой в курной избе?

– А не худое дело! – заметил капитан, поглаживая усы.

– На другой же день мы отправились к графине, были представлены *нашею* хозяйкою, и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придумано для удобства жизни: прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы; в каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами; все прихоти туалета; слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшее желание; каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпускать ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка

к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимою, жизнь в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались как сыр в масле. Через несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини – славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства.

Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружных мест; собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне посреди толкований о завтрашнем дне (ибо мы почти как домашние принимали участие во всех хозяйственных хлопотах) зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околотка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие: заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с десяти часов утра, и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полу-

ночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в пять часов надобно было садиться на коня. Но, сказать правду, к концу дня мы были измучены донельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто; мы хотели также разойтись по спальням; но молодая графиня, для которой двадцать четыре часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрасивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню.

«О, – сказала графиня, – что вам брать пример с этого лентяя! Надобно проучить его за его леность! Как можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам! Пойдемте за мною!»

Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково было его удивление, когда при бледном свете ночной лампы он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели! Впросонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» – но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростертыми руками. В испуге ли, или еще не совсем пробужденный, молодой человек взвел курок, раз-

дался выстрел...

«Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» – вскричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню... Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее: она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось; по крайней мере, если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь да стоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, Бог знает что теперь об этом выдумали; а дело было просто, как вы видите.

И рассказчик засмеялся.

В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему.

– Вы с большою точностию, – сказал он, – рассказали это происшествие; я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня здравствует до сих пор и что вас приводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке.

Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал:

– Об этом происшествии много было толков; но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, ко-

торые рассказывали об этом происшествии, умерли чрез две недели после своего рассказа.

Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты.

Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный, холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор; но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Чрез несколько дней мы узнали, что наш насмешник над привидениями занемог, и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспрестанно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели – и вообразите себе, – прибавил Иринея Модестович трагическим голосом, – ровно чрез две недели в гостиной Марьи Сергеевны сделалось одним гостем меньше!

– Странно! – заметил капитан, – очень странно!

Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей.

– Тут нет ничего удивительного, – сказал он важным голосом, – многое бывает в человеке от мысленности, так, от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам

ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя; год прошел, другой, – день и ночь роется в архиве: сжалился я наконец над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался, – нет его; смотрю: он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточки между кипами и держит в руках номер.

«Что с вами? – закричал я ему, – сойдите сюда». Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьевич, никак не могу: *я решенное дело!*»

И начальник отделения захохотал; у Ириней Модестовича навернулись слезы.

– Ваша история, – проговорил он, – печальнее моей.

Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении, и наконец, как будто очнувшись, спросил у Ириней Модестовича:

– А что, у вашей Марьи Сергеевны пили ли пунш?

– Нет, – отвечал Ириней Модестович.

– Странно! – проговорил капитан. – Очень странно!

Между тем дилижанс остановился; мы вышли.

– Неужели в самом деле рассказчик-то умер? – спросил я.

– Я никогда этого не говорил, – отвечал быстро Ириней Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая, по своему обыкновению...

Оскар Уайльд
Кентервильское привидение
**Материально-
идеалистическая история**



I

Мистер Хирам Б. Отис, американский посол, покупал Кентервильский замок. Все уверяли его, что он делает большую глупость, так как не было никакого сомнения, что в зам-

ке водятся духи.

Даже сам лорд Кентервиль, человек честный до щепетильности, счел своим долгом предупредить об этом мистера Отиса, когда они стали сговариваться об условиях продажи.

– Мы предпочитали не жить в этом замке, – сказал лорд Кентервиль, – с тех пор, как моя двоюродная бабушка, вдовствующая герцогиня Болтон, была как-то раз напугана до нервного припадка двумя руками скелета, опустившимися к ней на плечи, когда она переодевалась к обеду. Она так и не излечилась впоследствии. И я считаю себя обязанным уведомить вас, мистер Отис, что привидение это являлось многим ныне здравствующим членам моего семейства. Его видел и наш приходский пастор, преподобный Огастес Дампир, кандидат королевского колледжа в Кембридже. После злополучного приключения с герцогиней никто из младшей прислуги не захотел оставаться у нас, а леди Кентервиль часто не удавалось уснуть по ночам из-за таинственных шорохов, доносившихся из коридора и библиотеки.

– Милорд, – ответил посол, – я куплю у вас и мебель, и привидение, согласно вашей расценке. Я родом из передовой страны; там у нас имеется все, что можно купить за деньги, а при нашей шустрой молодежи, которая ставит ваш Старый Свет вверх ногами и увозит от вас ваших лучших актрис и примадонн, я уверен, что, если бы в Европе действительно существовало хоть одно привидение, оно давным-давно было бы у нас в одном из наших публичных музеев, или его

возили бы по городам на гастроли, в качестве диковинки.

– Боюсь, что это привидение существует, – сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, – хотя оно, быть может, и отклонило все заманчивые предложения ваших предприимчивых импресарио. Оно хорошо всем известно вот уже триста лет, точнее сказать, с 1574 года, и оно всегда появляется незадолго до смерти кого-нибудь из нашей семьи.

– Ну, ведь и домашний врач тоже появляется незадолго до смерти, лорд Кентервиль. Но, сэр, таких вещей, как привидения, не существует, и смею думать, что законы природы не могут быть изменяемы даже для английской аристократии.

– Да, вы очень просто смотрите на вещи в Америке, – отозвался лорд Кентервиль, не совсем понявший последнее замечание мистера Отиса, – и если вы ничего не имеете против привидения, то все улажено. Но только не забудьте – я вас предупреждал.

Через несколько недель была совершена купчая, и к концу сезона посол и его семья переехали в Кентервильский замок. Миссис Отис, еще будучи мисс Лукрецией Р. Тэппен, с 53-й Западной улицы, была известной нью-йоркской красавицей, теперь же это просто была красивая дама средних лет, с чудесными глазами и великолепным профилем. Многие американки, покидая свою родину, принимают хронически болезненный вид, думая, что это признак высшей европейской утонченности, но миссис Отис не совершила этой ошибки. У нее было великолепное телосложение, и она об-

ладада просто сказочным избытком жизненных сил. Даже во многих отношениях она была прямо англичанкой и являлась прекрасным подтверждением того, что у нас теперь почти все с Америкой общее, кроме, конечно, языка. Старший сын ее, которого родители, под влиянием минутной вспышки патриотизма, окрестили Вашингтоном, о чем он никогда не переставал сожалеть, был довольно красивый юный блондин, проявивший все данные будущего американского дипломата, так как в течение трех сезонов подряд дирижировал немецкой кадрилию в ньюпортском казино и даже в Лондоне прослыл прекрасным танцором. Его единственными слабостями были гардени и гербовник. Во всем остальном это был человек чрезвычайно здравомыслящий. Мисс Виргиния Е. Отис была девочка пятнадцати лет, стройная и грациозная, как лань, с большими, ясными, голубыми глазами. Она была прекрасной наездницей и как-то раз заставила старого лорда Вилтона проскакать с нею дважды вокруг Гайд-парка и на полтора корпуса обогнала его на своем пони у самой статуи Ахиллеса; этим она привела в такой восторг молодого герцога Чеширского, что он тут же сделал ей предложение и в тот же вечер, весь в слезах, был отправлен своими опекунами обратно в Итонскую школу. После Виргинии шли близнецы, которых обыкновенно дразнили «Звездами и Полосами», так как их часто пороли. Они были прелестные мальчики и, за исключением почтенного посла, единственные республиканцы во всем доме.

Так как Кентервильский замок отстоит на семь миль от Аскота, ближайшей железнодорожной станции, то мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали навстречу экипаж, и все отправились в путь в отличном расположении духа.

Был прекрасный июльский вечер, и воздух был пропитан теплым ароматом соснового леса. Изредка слышалось нежное воркование лесной горлицы, наслаждающейся собственным голосом, или показывалась в гуще шелестящих папоротников пестрая грудь фазана. Крошечные белки посматривали на них с буков, а кролики стремительно улепетывали через низкую поросль и по мшистым кочкам, задравверху белые хвостики. Когда они въехали в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, небо вдруг покрылось тучами, какая-то странная тишина как бы сковала весь воздух, молча пролетела огромная стая галок, и они еще не успели подъехать к дому, как стал накрапывать дождь большими редкими каплями.

На ступенях крыльца их поджидала старушка, в аккуратном черном шелковом платье, белом чепчике и переднике. Это была миссис Эмни, экономка, которую миссис Отис, по убедительной просьбе леди Кентервиль, оставила у себя на службе в прежней должности. Она перед каждым членом семьи по-очереди низко присела и торжественно, по-старомодному, промолвила:

— Добро пожаловать в Кентервильский замок!

Они вошли вслед за нею в дом и, пройдя великолепный холл в стиле Тюдоров, очутились в библиотеке, длинной и низкой комнате. Ее стены были обшиты черным дубом, а в противоположном конце находилось большое окно из разноцветных стекол. Здесь для них был сервирован чай. Сняв пальто, они уселись за стол и стали разглядывать комнату, а миссис Эмни прислуживала им.

Вдруг миссис Отис заметила темное красное пятно на полу, у самого камина, и, не зная его происхождения, указала на него миссис Эмни:

– Кажется, здесь что-то пролито.

– Да, сударыня, – ответила старая экономка шепотом, – на этом месте была пролита человеческая кровь.

– Какой ужас! – воскликнула миссис Отис. – Кровавые пятна в гостиной, на мой взгляд, совершенно неуместны. Это надо немедленно смыть.

Старуха улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом:

– Это кровь леди Элеоноры Кентервиль, которая была убита на этом самом месте в 1575 году своим собственным мужем, лордом Симоном де Кентервилем. Сэр Симон пережил ее на девять лет и потом неожиданно исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Его тело так и не было найдено, но грешный дух его до сих пор еще бродит по замку. Пятно это приводило в восхищение туристов, и уничтожить его невозможно.

– Это все глупости! – воскликнул Вашингтон Отис. – «Всемирный Выводитель Пятен Пинкертона и Образцовый Очиститель» уничтожит его в одно мгновение.

И не успела помешать ему испуганная экономка, как он опустился на колени и стал быстро тереть пол маленькой палочкой какого-то вещества, похожего на черный фиксатуар. Через несколько минут от кровавого пятна не осталось ни следа.

– Я знал, что «Пинкертон» тут поможет! – воскликнул он, торжествуя, и оглянулся на жену и детей, которые с одобрением смотрели на него; но он не договорил, так как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, и оглушительный удар грома поднял всех на ноги, а миссис Эмни упала в обморок.

– Какой чудовищный климат, – заметил спокойно американский посол, закуривая длинную манильскую сигару. – Очевидно, в этой древней стране населения настолько много, что на всех не хватает приличной погоды. Я всегда держался того мнения, что эмиграция – единственное спасение для Англии.

– Дорогой Хирам, – сказала миссис Отис, – что нам делать с женщиной, которая падает в обморок?

– Вычти из ее жалованья, как за битые посуды, – ответил посол, – после этого она не станет больше падать.

И действительно, через несколько минут миссис Эмни пришла в себя. Но, несомненно, она была очень взволнова-

на и торжественно предупредила миссис Отис, что ее дому неминуемо угрожает беда.

— Сэр, — сказала она, — я видела собственными глазами такие вещи, от которых у всякого доброго христианина волосы встали бы дыбом, и много ночей не смыкала я глаз от ужасов, творящихся здесь.

Но мистер Отис и его жена настойчиво убеждали почтенную женщину, что они не боятся привидений, и, призвав благословение Божие на своих новых хозяев и намекнув на прибавку жалованья, старая экономка удалилась нетвердыми шагами в свою комнату.

II

Буря дико бушевала всю ночь, но ничего особенного не случилось. Однако на следующее утро, когда семья сошла к завтраку, она снова нашла ужасное кровавое пятно на полу.

— Не думаю, чтобы тут виноват был мой «Образцовый Очиститель», — сказал Вашингтон, — так как я его испробовал на очень многих вещах. Должно быть, это дело привидения.

И он снова стер пятно, и снова к следующему утру оно появилось. И на третье утро оно было там, несмотря на то, что накануне вечером мистер Отис сам запер библиотеку и унес с собою ключ наверх. Вся семья сильно заинтересовалась этим; мистер Отис стал подумывать, не был ли он слиш-

ком догматичен, когда отрицал существование привидений; миссис Отис высказала решение вступить в члены Общества исследований спиритических явлений, а Вашингтон приготовил длинное письмо к господам Майерсу и Подмору на тему о «Прочности кровавых пятен, связанных с преступлением». Но в ту же ночь были рассеяны навсегда всякие сомнения относительно существования призраков.

День был жаркий и солнечный, и, когда наступила вечерняя прохлада, вся семья поехала кататься. Они вернулись домой только к девяти часам и сели за легкий ужин. Разговор вовсе не касался духов, так что не было даже тех элементарных условий повышенной восприимчивости, которая так часто предшествует всяким спиритическим явлениям. Темы, которые обсуждались, как мне потом удалось узнать от мистера Отиса, были обычные темы просвещенных американцев высшего класса, например: бесконечное превосходство мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар; трудность получения даже в лучших английских домах зеленой кукурузы, гречневых пирожков и маисовой каши; значение Бостона для развития мировой души; преимущества билетной системы для провоза багажа по железной дороге; приятная мягкость нью-йоркского акцента в сравнении с тягучестью лондонского произношения. Никто не упомянул ни о чем сверхъестественном, и о сэре Симоне де Кентервиле вовсе не было речи. В одиннадцать часов семья удалилась на покой, и полчаса спустя во всем доме были погашены огни.

Через короткое время мистер Отис проснулся от страшного шума в коридоре, куда выходила его комната. Ему послышался как будто звон металла, приближающийся с каждой минутой. Он тотчас же встал, зажег спичку и посмотрел на часы. Было ровно час. Мистер Отис был совершенно спокоен и пощупал свой пульс, который бился ровно, как всегда. Страшный шум продолжался, и одновременно мистер Отис ясно стал различать звук шагов. Он надел туфли, достал из несессера маленький узкий флакон и открыл дверь. Прямо перед собой, при слабом свете луны, он увидел какого-то старика ужасной внешности. Глаза его были подобны красным горящим угольям; длинные седые волосы ниспадали на его плечи спутанными прядями; его платье старинного покроя было все в лохмотьях и грязно, а с кистей его рук и со щиколоток ног свисали тяжелые ручные кандалы и ржавые цепи.

– Сэр, – сказал мистер Отис, – я решительно должен настоять на том, чтобы вы смазали себе цепи; для этой цели я принес вам маленький флакон смазки «Восходящее Солнце» фирмы Таммани. Уверяют, что она дает желаемые результаты после первого же смазывания, и на обертке вы можете найти несколько блестящих отзывов, с подписями наиболее видных пасторов моей родины. Я оставлю вам бутылочку здесь около подсвечников и буду рад снабжать вас этим средством по мере надобности.

С этими словами посол Соединенных Штатов поставил пузырек на мраморный столик и, закрыв дверь, удалился.

Минуту кентервильское привидение стояло совершенно неподвижно, охваченное вполне естественным гневом; затем, озлобленно хватив бутылкой со всего размаху о паркет, оно понеслось по коридору, издавая глухие стоны, испуская зловещее зеленое сияние. Но едва оно достигло верхней площадки большой дубовой лестницы, как раскрылась какая-то дверь, показались две маленькие фигурки в белом, и огромная подушка просвистела у него над головой. Не теряя времени, привидение быстро воспользовалось четвертым измерением, нырнув в деревянную обшивку стены, и в доме все стихло.

Добравшись до маленькой потайной каморки в левом крыле замка, дух, чтобы передохнуть, прислонился к лунному лучу и начал разбираться в своем положении. Никогда за всю его славную, незапятнанную трехсотлетнюю карьеру никто его так жестоко не оскорблял. Он вспомнил о вдовствующей герцогине, которую он напугал до припадка, когда она стояла перед зеркалом вся в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он просто улыбнулся им из-за портьеры какой-то нежилой спальни; о приходском пасторе, у которого он потушил свечу, когда тот как-то вечером выходил из библиотеки, и который с тех пор находился на излечении у сэра Уильяма Галла, страдаая нервным расстройством; о старой мадам де Тремульяк, которая, проснувшись однажды рано утром и увидав скелет, сидящий в кресле у камина и читающий ее дневник,

слегла на целых шесть недель от воспаления мозга, примирилась с церковью и раз и навсегда порвала всякие сношения с известным скептиком monsieur де Вольтером. Он вспомнил ужасную ночь, когда нашли жестокого лорда Кентервиля у себя в спальне, и тот задыхался, так как в горле у него застряла карта с бубновым валетом. Старик сознался перед смертью, что, играя у Крокфорда с Чарлзом-Джеймсом Фоксом, обыграл его на 50 000 фунтов стерлингов с помощью этой же карты, и вот теперь эту карту ему сунуло в глотку кентервильское привидение. Он вспомнил все свои великие подвиги, начиная с дворецкого, который застрелился в буфетной, увидев зеленую руку, стучащую к нему в окно, и кончая прекрасной леди Стетфилд, которая принуждена была носить вокруг шеи черную бархатку, дабы скрыть следы пяти пальцев, оставшихся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в сазанном пруду, в конце Королевской аллеи. С восторженным самодовольством настоящего художника стал он перебирать в памяти свои наиболее знаменитые выступления и горько улыбался, вспоминая свое последнее появление в качестве Красного Рубена, или Задушенного Младенца, свой дебют в роли Сухощавого Джибона, или Кровоопийцы с Бекслейской Топи, и фурор, который он произвел как-то ясным июньским вечером, играя в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса.

И после всего этого являются какие-то несчастные современные американцы, предлагают ему «Смазку Восходяще-

го Солнца» и швыряют в него подушками! Это было просто невыносимо. Кроме того, до сих пор в истории не бывало примера, чтобы так обращались с привидениями. Он решил отомстить и до рассвета оставался в глубоком раздумье.

III

На следующее утро, когда семья Отисов встретилась за завтраком, стали подробно и много говорить о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного обижен тем, что подарок его не был принят.

– Я не желаю наносить этому духу оскорбление, – сказал он, – и должен заметить, что, принимая во внимание долголетнее его пребывание в этом доме, не совсем вежливо швырять в него подушками. (Это вполне справедливое замечание было встречено, к сожалению, взрывами смеха со стороны близнецов.) Но с другой стороны, – продолжал посол, – если дух действительно отказывается пользоваться «Смазкой Восходящего Солнца», мы принуждены будем отобрать у него цепи. Совершенно невозможно спать, когда около спальни такой шум.

Однако остаток недели прошел тихо, и ничто не беспокоило их; единственное, что возбуждало внимание – это постоянное возобновление кровавого пятна на полу библиотеки. Это было действительно странно, так как дверь всегда запирали на ночь сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями

с крепкими задвижками. Вызывала много толков и хамелеоноподобная окраска этого пятна. Иногда оно по утрам было густого (почти индийского) красного цвета, иногда киноварного, потом пурпурного, а однажды, когда семья сошла вниз к общесемейной молитве, – согласно упрощенному ритуалу свободной американской реформированной епископальной церкви, – пятно было яркого изумрудно-зеленого цвета. Эти калейдоскопические перемены, естественно, очень забавляли всех членов семейства, и каждый вечер составлялись пари в ожидании следующего утра. Единственное лицо, которое не разделяло общего легкомысленного настроения, была маленькая Виргиния; она, по какой-то необъяснимой причине, всегда бывала крайне опечалена при виде кровавого пятна и чуть-чуть не расплакалась в то утро, когда оно было ярко-зеленое.

Второе появление духа состоялось в воскресенье ночью. Вскоре после того, как семья легла спать, все были внезапно испуганы невероятным треском в холле. Бросившись вниз, увидели большие рыцарские доспехи, сорвавшиеся с пьедестала и упавшие на пол, а на кресле с высокой спинкой сидело кентервильское привидение и терло коленки с выражением острой боли. Близнецы, захватившие с собой резиновые рогатки, с меткостью, которая достигается только долгим и упорным упражнением на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него два заряда, а посол Соединенных Штатов направил на него револьвер и, согласно ка-

лифорнийскому этикету, пригласил его поднять руки вверх! Дух вскочил с диким криком бешенства и пронесся как туман через них, потушив при этом у Вашингтона свечу и оставив всех в абсолютной темноте. Добравшись до верхней площадки лестницы, он пришел в себя и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом. Не раз этот хохот оказывал ему услуги. Говорят, что от него в одну ночь поседел парик у лорда Райкера, и, бесспорно, этот хохот был причиной того, что три французские гувернантки леди Кентервиль отказались от места, не дослужив и месяца. И он захотел своим самым ужасным хохотом, так что зазвенел старый сводчатый потолок; но едва замолкло страшное эхо, как раскрылась дверь и вышла миссис Отис в бледно-голубом капоре.

– Мне кажется, вы не совсем здоровы, – сказала она, – и поэтому я вам принесла бутылку микстуры доктора Добеля. Если вы страдаете несварением желудка, то это средство вам очень поможет.

Дух бросил на нее яростный взгляд и начал тотчас делать приготовления, чтобы обернуться в черную собаку, – талант, который ему заслужил справедливую славу и которому домашний врач всегда приписывал неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, мистера Томаса Хортона. Но звуки приближающихся шагов заставили его отказаться от этого намерения, и он удовольствовался тем, что стал слабо фосфоресцировать и исчез с глубоким кладбищенским вздохом

как раз в ту минуту, когда его почти настигли близнецы.

Добравшись до своей комнаты, он окончательно расстроился и сделался жертвой самого сильного волнения. Вульгарность близнецов и грубый материализм миссис Отис были крайне ему неприятны, но что его больше всего огорчило — это то, что ему так и не удалось облечься в эти доспехи. Он надеялся, что даже современные американцы будут смущены зрелищем «Привидения в доспехах», если не по какой-либо разумной причине, то по меньшей мере из уважения к их национальному поэту Лонгфелло, над томами изящной и привлекательной поэзии которого он провел не один долгий час, когда Кентервили переезжали в город. Кроме того, это было его собственное облачение. Он носил его с большим успехом на турнире в Кенильворте и удостоился выслушать по поводу его много лестного от самой королевы-девственницы. Но когда он теперь надел доспехи, он окончательно свалился под тяжестью огромного нагрудника и стального шлема и в изнеможении упал на каменный пол, сильно ушибив оба колена и разодрав кожу на пальцах правой руки.

В течение нескольких дней он серьезно хворал и почти не выходил из своей комнаты, кроме как ночью, для поддержания в надлежащем виде кровавого пятна. Но благодаря тщательному уходу за собой он поправился и решился в третий раз попытаться испугать посла Соединенных Штатов и его семью. Для этого он выбрал пятницу 17 августа и провел по-

что весь день, перебирая свой гардероб, остановив наконец свой выбор на большой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и на заржавленном кинжале. К вечеру разразился сильный ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери в старом доме вздрагивали и дребезжали. Впрочем, такую именно погоду он очень любил. План был намечен такой: первым делом он проберется тихонько в комнату Вашингтона Отиса, станет у него в ногах и наговорит ему всякого вздору, а потом пронзит себе горло кинжалом под звуки тихой музыки. Особую неприязнь он чувствовал к Вашингтону, так как прекрасно знал, что это именно он имел привычку стирать знаменитое Кентервильское пятно с помощью Образцового Пинкертоновского Очистителя. Доведя легкомысленного и дерзкого юношу до состояния несказанного ужаса, он должен был пройти в спальню посла Соединенных Штатов и его супруги и там положить покрытую холодным потом руку на голову миссис Отис, нашепывая в то же время ее дрожащему мужу на ухо ужасные тайны склепа. Что касается маленькой Виргинии, то он и сам еще не решил, что именно он предпримет. Она никогда его не оскорбляла, а была так мила и нежна. Несколько глухих стонов из шкапа будет более чем достаточно, а если это не разбудит ее, он может подергать дрожащими пальцами ее одеяло. Близнецам же он решил преподать урок. Первое, что надо сделать, это, конечно, сесть им на грудь, чтобы вызвать отвратительные ощущения кошмара. Потом, ввиду то-

го что кровати близнецов стоят близко друг к другу, он встанет между ними в образе зеленого заледенелого трупа, пока они не застынут от ужаса, и тогда он сбросит свой саван и, обнажив свои кости, будет шагать по комнате, вращая одним глазом, в роли Немого Даниила, или Скелета Самоубийцы, которая не раз производила большой эффект и которую он по силе считал равной своему исполнению Сумасшедшего Мартина, или Сокрытой Тайны.

В половине одиннадцатого он слышал, как вся семья отправилась спать. Долго ему мешали дикие взрывы хохота близнецов, которые с легкомысленной беспечностью школьников, очевидно, резвились перед тем, как улечься на покой; в четверть двенадцатого все стихло, и, как только пробило полночь, он пустился в путь. Совы бились о стекла окон, ворон каркал со старого тисового дерева, и ветер блуждал, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но семья Отисов спокойно спала и не подозревала о предстоящем несчастье, и громче дождя и бури раздавался храп посла Соединенных Штатов. Дух осторожно выступил из обшивки, со злой улыбкой вокруг жестокого, сморщенного рта; луна спрятала свое лицо за тучей, когда он пробирался мимо круглого окна, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он, словно зловещая тень; казалось, что и сама тьма встречала его с отвращением.

Однажды ему показалось, что кто-то окликнул его, и он

остановился; но это был только лай собаки, доносившийся с Красной фермы. И он продолжал свой путь, бормоча страшные ругательства XVI века и не переставая размахивать в ночном воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до угла коридора, ведущего в комнату злосчастного Вашингтона. На мгновение он там остановился; ветер развевал его длинные седые локоны и свертывал с неизреченным ужасом в чудовищные фантастические складки саван мертвеца. Потом часы пробили четверть, и он почувствовал, что время наступило. Он самодовольно замурлыкал и повернул за угол; но едва только он это сделал, как с воплем ужаса шарахнулся назад и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял ужасный призрак, неподвижный, словно изваяние, и чудовищный, как бред сумасшедшего. Голова у него была лысая, гладкая; лицо было круглое, жирное, белое; и как будто отвратительный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз у него струились лучи красного света, рот был широким огненным колодцем, а безобразная одежда, похожая на его собственную, окутывала своими молчаливыми снегами титаническую фигуру. На груди у призрака висела доска с надписью, начертанной страшными буквами старинным шрифтом: верно, повесть о диких злодеяниях, ужасный перечень преступлений; в правой руке он высоко держал палицу из блестящей стали.

Никогда до этого времени не выдав привидений, Кентер-

вильский дух, естественно, ужаснулся и, снова бросив беглый взгляд на страшный призрак, побежал назад к себе в комнату, запутавшись несколько раз в складках савана и уронив заржавленный кинжал в сапоги посла, где на следующее утро он был найден дворецким. Добравшись до своей комнаты и очутившись наконец в безопасности, он бросился на узкую походную кровать и спрятал лицо под одеялом. Спустя некоторое время, однако, проснулась в нем старая кентервильская отвага, и он решил пойти и заговорить с другим привидением, как только придет рассвет. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где впервые увидел жуткий призрак, чувствуя, что, в конце концов, два привидения лучше одного и что с помощью своего нового друга он будет в силах справиться с близнецами. Но когда дошел до этого места, его взорам представилась страшная картина. Что-то, очевидно, приключилось с призраком, так как свет окончательно потух в его пустых глазных впадинах, блестящая палица выпала из рук, и весь он прислонился к стене в крайне неудобной и неестественной позе. Дух Кентервиля подбежал к нему, поднял его, как вдруг – о, ужас! – голова соскочила и покатилась по полу, туловище окончательно согнулось, и он увидел, что обнимает белую канифасовую занавеску, а у ног его лежат метла, кухонный топор и выдолбленная тыква. Не понимая причины этого странного превращения, он лихорадочными руками поднял плакат и при сером свете утра прочел следующие страшные слова:

ДУХ ОТИС

**Единственный настоящий и оригинальный
призрак!**

Остерегайтесь подделок!!

Все остальные – ненастоящие!

Ему сразу все стало ясно. Его обманули, перехитрили, оставили с носом! Глаза его засверкали старым кентервильским огнем; он заскрежетал беззубыми деснами и, подняв высоко над головой сморщенные руки, поклялся, согласно образной фразеологии старинной школы, что, когда Шантеклер дважды протрубит в свой рог, совершатся кровавые преступления, и убийство тихими шагами пройдет по этому дому.

Едва он произнес эту ужасную клятву, как с красной черепичной крыши далекого домика раздалось пение петуха. Дух захохотал долгим, глухим и печальным хохотом и стал ждать. Час за часом ждал он, но по какой-то необъяснимой причине петух вторично уже не запел. Наконец около половины восьмого приход горничных заставил его отказаться от страшного бдения, и он вернулся в свою комнату, не переставая думать о своей тщетной надежде и неисполненном желании. Там, у себя, он стал перебирать несколько древних книг, которые очень любил, и вычитал, что каждый раз, когда бывала произнесена его клятва, всегда вторично пропевал петух.

– Да будет проклята эта гадкая птица, – пробормотал он, –

дождусь ли дня, когда верным копьем проткну ей глотку и заставлю ее петь мне до смерти.

Потом он лег в удобный свинцовый гроб и оставался там до самого вечера.

IV

На следующий день дух чувствовал себя очень слабым и утомленным. Ужасное нервное возбуждение последних четырех недель начинало сказываться. Его нервы были совершенно разбиты, и он вздрагивал при малейшем шорохе. В течение целых пяти дней он не выходил из своей комнаты и наконец решил бросить заботы о кровавом пятне на полу библиотеки. Если оно не нужно было семье Отисов, то ясно, что они были недостойны его. Это, очевидно, были люди, живущие в низшей материальной плоскости и совершенно не умеющие ценить символическое значение спиритических феноменов. Вопрос о сверхземных явлениях и о развитии астральных тел, конечно, был иного рода и, в сущности, не находился под его контролем. Но священной его обязанностью было являться раз в неделю в коридоре, издавать бессвязный вздох с большого круглого окна в первую и третью среду каждого месяца, и он не видел возможности отказаться от этих своих обязанностей. И хотя его жизнь была очень безнравственной, но, с другой стороны, он был крайне добросовестен во всех вопросах, связанных с потусторонним

миром. Поэтому в ближайшие три субботы он, по обыкновению, прогуливался по коридору между полночью и тремя часами утра, принимая всевозможные меры, чтобы его не слышали и не видели. Он снимал сапоги, ступал как можно легче по изъеденным червями доскам пола, надевал широкий черный бархатный плащ и не забывал тщательно смазывать свои цепи «Смазкой Восходящего Солнца». Я должен признаться, что ему стоило многих усилий заставить себя прибегнуть к этой последней предохранительной мере. Все-таки однажды вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и выкрал оттуда бутылку. Сперва он чувствовал себя немного униженным, но потом вынужден был благоразумно сознаться, что изобретение это имело свои достоинства и до некоторой степени могло принести ему пользу. Но, несмотря на все предосторожности, его не оставляли в покое. Постоянно кто-то протягивал веревки поперек коридора, о которые он спотыкался в темноте; однажды же, когда он оделся для роли Черного Исаака, или Охотника из Хоглейских Лесов, он тяжело ушибся, поскользнувшись на масляном катке, который был устроен близнецами, начиная со входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Эта последняя обида так разозлила его, что он решился сделать последнюю попытку для восстановления своего достоинства и общественного положения и явиться дерзким юным школьникам в следующую ночь в своей знаменитой роли Отважного Руперта, или Гер-

цога без головы.

Он не появлялся в этой роли более семидесяти лет, с тех самых пор, когда он так напугал хорошенькую леди Барбару Модииш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервиля, и убежала в Гретна-Грин с красавцем Джеком Каслтоном; она тогда заявила, что ни за что в мире не согласится выйти замуж за человека, семья которого позволяет такому ужасному призраку разгуливать в сумерках по террасе. Бедный Джек был вскоре убит на дуэли лордом Кентервильским на Вандсвортском лугу, а леди Барбара умерла от разбитого сердца в Тенбридж-Уэльсе меньше чем через год, так что в общем выступление духа имело большой успех. Но это был чрезвычайно трудный «грим», – если я могу воспользоваться таким театральным термином, говоря об одной из величайших тайн мира сверхъестественного, или, выражаясь научнее, мира «околоестественного», – и он потерял целых три часа на приготовления. Наконец все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые составляли часть костюма, были немного велики, и ему не удалось отыскать один из двух пистолетов, но, в общем, он был совершенно доволен и ровно в четверть второго выскользнул из обшивки и прокрался вниз по коридору. Добравшись до комнаты, которую занимали близнецы (кстати сказать, эта комната называлась Голубой спальней из-за цвета обоев и штор), он заметил, что дверь была немного открыта. Желая как можно эффектнее

войти, он широко распахнул ее... и прямо на него свалился тяжелый кувшин с водой, промочив его насквозь и едва не задев левое плечо. В ту же минуту он услышал сдержанные взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.

Нервное потрясение было так велико, что он убежал в свою комнату как можно скорее и на следующий день слег от сильной простуды. Хорошо еще, что он не захватил с собою своей головы, иначе последствия могли бы быть очень серьезными.

Он теперь бросил всякую надежду напугать когда-нибудь эту невоспитанную американскую семью и большею частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, с толстым красным шарфом вокруг шеи, из боязни сквозняков, и с маленьким арбалетом в руках на случай нападения близнецов. Окончательный удар был нанесен ему 19 сентября. Он спустился в большую переднюю, чувствуя, что там по крайней мере будет в совершенной безопасности, и стал развлекать себя язвительными насмешками над большими увеличенными фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, сменившими фамильные портреты Кентервилей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где запятнанный могильной плесенью, нижняя челюсть была подвязана куском желтого полотна, а в руке он держал фонарик и заступ могильщика. Собственно говоря, он был одет для роли Ионы Непогребенного, или Пожирателя Трупов с Чертсейского Гумна, одно из его лучших

воплощений. Оно так памятно всем Кентервилям, ибо именно оно послужило поводом для их ссор с соседом лордом Реффордом. Было уже около четверти третьего, и, насколько ему удалось заметить, никто не шевелился. Но когда он медленно пробирался к библиотеке, чтобы проверить, остались ли какие-нибудь следы от кровавого пятна, внезапно набросились на него из-за темного угла две фигуры, дико размахивавшие руками над головой, и крикнули ему на ухо: «Б-у-у!»

Охваченный вполне естественным, при таких условиях, паническим страхом, он бросился к лестнице, но там его ждал Вашингтон с большим садовым насосом; окруженный таким образом со всех сторон врагами и почти принужденный сдаться, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не топилась, и пробрался по трубам в свою комнату в ужасном виде, грязный, растерзанный, исполненный отчаяния.

После этого его ночные похождения были прекращены. Близнецы поджидали его в засаде несколько раз и каждый вечер посыпали пол коридоров ореховой скорлупой, к величайшему неудовольствию родителей и прислуги, но все было напрасно. Стало совершенно очевидно, что дух счел себя настолько обиженным, что не хотел больше появляться. Поэтому мистер Отис снова принялся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет; миссис Отис организовала состязание на печение пирогов, поразившее все графство; мальчики увлеклись лакроссом,

покером, юкером и другими национальными американскими играми; Виргиния же каталась по аллеям на своем пони в сопровождении молодого герцога Чеширского, проводившего последнюю неделю своих каникул в Кентервильском замке. Все окончательно решили, что привидение куда-нибудь переселилось, и мистер Отис известил об этом письмом лорда Кентервиля, который в ответ выразил свою большую радость по этому поводу и поздравил почтенную супругу посла.

Но Отисы ошиблись, так как привидение все еще оставалось в доме, и хотя теперь оно стало почти инвалидом, все же не думало оставлять всех в покое, тем более когда узнало, что среди гостей был молодой герцог Чеширский, двоюродный дед которого, лорд Фрэнсис Стилтон, однажды поспорил на сто гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с Кентервильским духом; на следующее утро его нашли на полу игровой комнаты в беспомощном состоянии, разбитого параличом, и, хотя он дожил до преклонного возраста, никогда больше не мог сказать ни слова, кроме «шесть и шесть». Эта история в свое время получила большое распространение, но из уважения, конечно, к чувствам обеих благородных семей были приняты все меры к тому, чтобы замать ее; подробное описание всех обстоятельств, связанных с этой историей, можно найти в третьем томе книги лорда Таттля «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Поэтому вполне естественно было желание духа доказать, что он не потерял своего влияния над Стилтонами, с которыми

к тому же у него было отдаленное родство; его собственная кузина была замужем en secondes nocess³ за сэром де Бёлкли, от которого, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские. Ввиду этого он начал приготовления, чтобы предстать перед юным поклонником Виргинии в своем знаменитом воплощении Монаха-Вампира, или Бескровного Бенедиктинца, – нечто столь страшное, что, когда его однажды, в роковой вечер под Новый год, в 1764 г., увидела старая леди Стартап, она разразилась пронзительными криками и через три дня скончалась от апоплексического удара, лишив Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства и оставив все свое состояние своему лондонскому аптекарю.

Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал духу покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно провел ночь под большим балдахином с плюмажами в королевской опочивальне и видел во сне Виргинию.

V

Несколько дней спустя Виргиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга, где она, перескакивая через плетень, так разорвала свою амазонку, что по возвращении домой решила подняться в свою комнату по черной лестнице, чтобы никто не видел. Когда она

³ вторым браком (*франц.*)

пробежала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуть-чуть приоткрыта, ей померещилось, что она кого-то увидела в комнате, и, думая, что это камеристка ее матери, иногда приходившая сюда со своим шитьем, она решила попросить ее заштопать платье. К ее неописуемому удивлению, оказалось, однако, что это был сам Кентервильский дух! Он сидел у окна и смотрел, как по воздуху носилось тусклое золото желтеющих деревьев и красные листья мчались в бешеной пляске по длинной аллее. Он оперся головою на руки, и весь облик его говорил о крайнем отчаянии. Таким одиноким, истрепанным казался он, что маленькая Виргиния, первая мысль которой была – убежать и запереться у себя в комнате, преисполнилась жалостью и решила попробовать утешить его. Так легки и неслышны были ее шаги, так глубока была его грусть, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.

– Мне вас очень жаль, – сказала она, – но братья мои завтра возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете вести себя прилично, никто вас больше обижать не станет.

– Глупо просить меня, чтобы я вел себя прилично, – ответил он, оглядывая в удивлении маленькую хорошенькую девочку, которая решилась с ним заговорить, – просто нелепо. Я должен греметь своими цепями, стонать в замочные скважины, разгуливать по ночам. О чем же вы говорите? В этом единственный смысл моего существования.

– Это вовсе не смысл существования, и вы знаете, что вы

были очень злой человек. Миссис Эмни рассказывала нам в первый же день нашего приезда, что вы убили свою жену.

— Ну что ж, я и не отрицаю этого, — ответил дух сварливо, — но это чисто семейное дело, и оно никого не касается.

— Очень нехорошо убивать кого бы то ни было, — сказала Виргиния, которая иногда проявляла милую пуританскую строгость, унаследованную от какого-нибудь старого предка из английских переселенцев.

— О, я ненавижу дешевую строгость отвлеченной морали! Жена моя была очень некрасива, никогда не могла прилично накрахмалить мои брыжи и ничего не понимала в стряпне. Вот вам пример: однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного годовалого самца, и как, вы думаете, она приказала подать его к столу? Впрочем, это неважно теперь, так как теперь все это кончилось, только, по-моему, было не очень мило со стороны ее братьев, что они заморили меня голодной смертью, хотя бы я и был убийца своей жены.

— Заморили вас голодом? О, господин дух, то есть я хотела сказать, сэр Симон, вы голодны? У меня в сумке есть бутерброд. Хотите?

— Нет, благодарю вас. Я теперь никогда ничего не ем; но все же вы очень любезны, и вообще вы гораздо милее всех остальных в вашей отвратительной, невоспитанной, пошлой, бесчестной семье.

— Молчите! — крикнула Виргиния, топнув ногой. — Вы сами невоспитанный, и отвратительный, и пошлый, а что ка-

сается бесчестности, то вы сами знаете, что взяли у меня из ящика краски для того, чтобы поддерживать это глупое кровавое пятно в библиотеке. Вначале вы взяли все красные краски, включая и киноварь, так что я больше не могла рисовать солнечные закаты, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром, и наконец у меня ничего не осталось, кроме индиго и белил, и я вынуждена была ограничиваться одними сценами при лунном освещении, что всегда выходило очень тоскливо и не так-то легко нарисовать. Я ни разу не выдала вас, хотя мне было очень неприятно, и вообще вся эта история крайне нелепа; кто когда-либо слышал о крови изумрудно-зеленого цвета?

– Но скажите, – сказал дух довольно покорно, – что же мне было делать? Очень трудно в наши дни доставать настоящую кровь, и так как ваш брат пустил в ход свой Образцовый Очиститель, я не видел причины, почему бы мне не воспользоваться вашими красками. Что касается цвета, то это вопрос вкуса; у Кентервилей, например, кровь голубая, самая голубая во всей Англии; но я знаю, что вы, американцы, такого рода вещей не любите.

– Вы совершенный невежда, и лучшее, что вы можете сделать, это эмигрировать в Америку и пополнить немного свое образование. Отец мой рад будет выхлопотать вам бесплатный проезд, и хотя существует очень высокая пошлина на всякого рода духи, вас будут мало беспокоить в таможне, так как все чиновники – демократы. А раз вы попадете в Нью-

Йорк, то вам обеспечен колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто тысяч долларов, чтобы иметь деда, и несравненно дороже, чтобы иметь семейное привидение.

– Вряд ли мне понравится ваша Америка.

– Наверное, потому, что там нет никаких развалин и ничего архаического? – сказала Виргиния иронически.

– Никаких развалин – а ваш флот? Ничего архаического – а ваши обычаи?

– Прощайте; я пойду и попрошу папу, чтобы он выхлопотал близнецам еще на одну неделю каникулы.

– Не уходите, пожалуйста, мисс Виргиния! – воскликнул он. – Я так одинок и так несчастлив и, право, не знаю, что делать. Мне хочется уснуть, а я не могу.

– Ну, это уж совсем нелепо!.. Вам только надо лечь в постель и потушить свечу. Иногда бывает очень трудно не уснуть, особенно в церкви, но никогда не бывает трудно уснуть. Даже грудные младенцы умеют это делать, а они ведь не так уж умны.

– Я не спал триста лет, – сказал он печально, и красивые голубые глаза Виргинии широко раскрылись в удивлении, – триста лет я не спал, и я так утомлен.



Виргиния сделалась совершенно серьезной, и ее губки задрожали, как розовые лепестки. Она подошла к нему, опустилась около него на колени и заглянула в старое и сморщенное лицо.

– Бедный, бедный дух, – прошептала она, – разве у тебя нет места, где бы лечь и уснуть?

– Далеко, далеко за сосновым бором, – ответил он тихим мечтательным голосом, – есть маленький сад. Там густа и высока трава, там большие белые звезды болиголова, и всю ночь там поет соловей. Всю ночь там поет соловей, а сверху глядит холодная хрустальная луна, и тисовое дерево простирает свои исполинские руки над спящими.

Глаза Виргинии потускнели от слез, и она закрыла лицо руками.

– Вы говорите о Саде Смерти? – прошептала она.

– Да, Смерти. Смерть должна быть прекрасна. Лежать в мягкой темной земле, чтоб над головой качались травы, и слушать молчание! Не знать ни вчера, ни завтра. Забыть время, простить жизнь, познать покой. Вы мне можете помочь. Вы можете открыть мне врата в обитель Смерти, ибо с вами – всегда Любовь, а Любовь сильнее Смерти.

Виргиния вздрогнула, холодная дрожь пронизала ее, и на несколько мгновений воцарилось молчание. Ей казалось, будто она в каком-то ужасном сне.

Потом снова заговорил дух, и голос его был похож на вздо-

хи ветра.

— Вы когда-нибудь читали то старинное предсказание, что начертано на окне библиотеки?

— О, часто! — воскликнула девочка, поднимая голову. — Я его хорошо знаю. Оно написано странными черными буквами, и так трудно прочесть его. Там всего только шесть строк:

*Когда златокудрая дева склонит
Уста грешника к молитве,
Когда сухое миндальное дерево зацветет
И малый ребенок заплачет,
Тогда затихнет весь наш дом,
И покой сойдет на Кентервиля.*

Но я не понимала, что значат эти слова.

— Они означают, — сказал он печально, — что вы должны оплакать мои прегрешения, так как у меня у самого нет слез, и помолиться за мою душу, так как у меня у самого нет веры, и тогда, если вы всегда были доброй, любящей и хорошей, Ангел Смерти смилуется надо мной. Вы увидите ужасных чудовищ во тьме, и злые голоса станут шептать вам на ухо, но они вам не причинят вреда, так как против чистоты ребенка злые силы ада бессильны.

Виргиния ничего не ответила, и дух в диком отчаянии стал ломать руки, глядя вниз на ее златокудрую головку. Вдруг, бледная, со страшно-светящимися глазами, она встала.

– Я не боюсь, – сказала она решительно, – и я попрошу Ангела помиловать вас.

С еле слышными криками радости встал он с места, взял ее руку и, склонившись к ней, поцеловал ее по старинному обычаю. Пальцы его были холодны как лед, а губы жгли как огонь, но Виргиния ни на минуту не поколебалась, пока он вел ее через полутемную комнату. На поблекших зеленых гобеленах были вытканы маленькие охотники. Они затрубили в свои украшенные кистями рога и крошечными ручками манили ее назад.

– Назад, маленькая Виргиния! – кричали они. – Назад!

Но дух схватил ее крепче за руку, и она закрыла глаза. Отвратительные звери с хвостами ящериц и выпученными глазами смотрели на нее с резной рамы камина и шептали:

– Берегись, маленькая Виргиния, берегись! Быть может, мы никогда больше не увидим тебя!

Но дух скользил вперед все быстрее, и она ничего не слышала. Когда они дошли до конца комнаты, он остановился и прошептал какие-то слова, которые она не могла понять. Она раскрыла глаза и видела, как стена медленно растаяла, словно мгла, и за ней открылась огромная черная пещера. Холодный ветер окутал их, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье.

– Скорее, скорее, – крикнул дух, – а то будет слишком поздно!

И не прошло мгновения, как деревянные обшивки стены

закрылись за ними, и гобеленовая зала стала пуста.

VI

Минут десять спустя зазвонил гонг, призывая к чаю, и, так как Виргиния не явилась, миссис Отис послала наверх за нею одного из лакеев. Он вернулся и заявил, что нигде не мог найти мисс Виргинии. Так как у нее была привычка выходить каждый вечер за цветами для обеденного стола, миссис Отис не беспокоилась вначале, но, когда пробило шесть и все еще Виргинии не было, она серьезно заволновалась и послала мальчиков поискать ее в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла все комнаты в доме. В половине седьмого мальчики вернулись и заявили, что нигде нет никаких следов Виргинии. Они были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что несколько дней тому назад позволил цыганскому табору расположиться у него в парке. Поэтому он тотчас же отправился в сопровождении старшего сына и двух работников в Блэкфельский лог, где, как он знал, находились цыгане. Маленький герцог Чеширский, почти обезумевший от беспокойства, настойчиво просил, чтобы и его взяли с собой, но мистер Отис не взял его, так как боялся, что будет драка. Когда они прибыли на место, где был табор, оказалось, что цыган уже нет, и, судя по тому, что еще теплился костер и на траве валялись какие-то тарелки, отъезд их был

крайне спешный. Отправив Вашингтона и работников обыскать местность, мистер Отис побежал домой и разослал телеграммы по всем полицейским участкам, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Потом он приказал подать себе лошадь и, убедив жену и трех мальчиков сесть за стол обедать, поехал по направлению к Аскоту в сопровождении груга. Но не успели они проехать и двух миль, как услышали за собой лошадиный топот, и, оглянувшись, мистер Отис увидел маленького герцога, прискакавшего на своем коне, без шляпы и с раскрасневшимся лицом.

– Простите меня, мистер Отис, – сказал мальчик, задыхаясь, – но я не могу есть, покада Виргиния не найдена. Пожалуйста, не сердитесь на меня; но, если бы вы в прошлом году дали согласие на нашу помолвку, этой истории не случилось бы. Вы не отправите меня назад, не правда ли? Я не хочу вернуться домой, и я не могу вернуться.

Посол не мог удержаться от улыбки при взгляде на красивого молодого сорванца, и его очень тронула преданность мальчика Виргинии; нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу и сказал:

– Ну, что же делать, Сесил? Если вы не хотите возвращаться домой, значит, надо мне взять вас с собой, но я должен буду купить вам в Аскоте шляпу.

– Черт с ней, со шляпой. Мне нужна Виргиния! – сказал маленький герцог, смеясь, и все поскакали по направлению

к железнодорожной станции.

Там мистер Отис расспросил начальника станции, не видел ли кто-нибудь на платформе девочки, отвечающей по описанию приметам Виргинии, но никто ничего не знал. Все же начальник станции дал телеграммы по линии и уверил мистера Отиса, что к розыскам девочки будут приняты все меры; купив маленькому герцогу шляпу у торговца, уже закрывавшего свою лавку, посол поехал дальше в село Бексли, отстоявшее на расстоянии четырех миль от станции, которое славилось как место сборищ для цыган, так как рядом был широкий луг. Здесь они разбудили сельского полисмана, но ничего от него не узнали и, объехав весь луг, повернули домой и добрались до замка около одиннадцати часов, усталые, разбитые, почти в отчаянии. У ворот их ждали Вашингтон и близнецы с фонарями: в аллее было уже очень темно. Оказалось, что цыган догнали на Броклейских лугах, но девочки с ними не было; что же касается их внезапного отъезда, то цыгане объяснили его тем, что они ошиблись относительно дня, когда открывается Чертонская ярмарка, и поспешили, чтобы не опоздать к открытию. Они и сами встревожились, узнав об исчезновении Виргинии, так как были очень признательны мистеру Отису за то, что он им позволил разбить свой табор в парке, и четверо из них остались помогать в этих розысках. Обыскали сазанный пруд и обошли каждый уголок замка, но безуспешно. Было очевидно, что на эту ночь, по крайней мере, Вирги-

ния пропала; в состоянии полного отчаяния направились к дому мистер Отис и мальчики, а грум следовал за ними с двумя лошадьми и пони. В передней их встретило несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, почти обезумевшая от страха и тревоги; ко лбу ее прикладывала компрессы из одеколona старуха экономка. Мистер Отис тотчас же уговорил жену съесть что-нибудь и велел всем подать ужин. Это был грустный ужин, так как все молчали, и даже близнецы уgomонились и сидели смирно, ибо они очень любили сестру.

Когда кончили есть, мистер Отис, невзирая на мольбы маленького герцога, отправил всех спать, говоря, что ночью все равно ничего нельзя сделать, а утром он даст телеграммы в Лондон, в сыскную полицию, чтобы немедленно прислали несколько сыщиков. Как раз когда они выходили из столовой, церковные часы начали отбивать полночь, и вместе с последним ударом колокола раздался какой-то грохот и резкий крик; оглушительный раскат грома потряс весь дом; звуки неземной музыки полились в воздухе; на верхней площадке лестницы сорвалась с шумом потайная дверь в деревянной обшивке, и, бледная как полотно, держа в руках маленький ларец, показалась Виргиния.

В одно мгновение все подбежали к ней, миссис Отис нежно прижала ее к себе, маленький герцог почти душил ее пылыми поцелуями, а близнецы стали кружиться вокруг группы в дикой воинственной пляске.

– Господи, дитя мое, где ты была? – сказал мистер Отис довольно сердито, думая, что она сыграла с ними какую-нибудь глупую шутку. – Сесил и я объехали всю Англию, разыскивая тебя, а мать твоя напугалась до полусмерти. Никогда больше ты не должна дурачить нас таким образом.

– Только духа можешь дурачить, только духа! – кричали близнецы, прыгая как сумасшедшие.

– Милая моя, родная, слава Богу, что ты нашлась; ты больше не должна никогда покидать меня, – твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая спутанные пряди ее золотистых волос.

– Папа, – сказала Виргиния спокойно, – я была все это время с духом. Он умер, и вы должны прийти и взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но он искренно раскаялся во всех своих проступках и подарил мне на память вот этот ларец с чудесными драгоценностями.

Вся семья глядела на нее в немом изумлении, но она была совершенно серьезна и спокойна и, повернувшись, повела их через отверстие в обшивке стены вниз по узкому потайному коридорчику; Вашингтон следовал в хвосте с зажженной свечой, захваченной со стола. Наконец они дошли до большой дубовой двери, обитой ржавыми гвоздями. Когда Виргиния прикоснулась к ней, она распахнулась на больших петлях, и они очутились в маленькой низенькой комнатке со сводчатым потолком и единственным решетчатым окошечком. В стену было вделано огромное железное кольцо, и к

нему цепью был прикован исполинский скелет, вытянувшийся во всю длину на каменном полу, и, казалось, он пытался ухватить длинными, без кожи и мяса, пальцами старинное блюдо и ковш, поставленные так, что их нельзя было достать. Ковш, очевидно, когда-то был наполнен водой, так как внутри он был покрыт зеленой плесенью. На блюде же ничего не было, кроме маленькой горсточки пыли. Виргиния опустилась на колени рядом со скелетом и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться; остальные в удивлении смотрели на ужасную трагическую картину, тайна которой теперь раскрылась им.

– Смотрите! – вдруг воскликнул один из близнецов, выглянувший в окно, чтобы проверить, в каком крыле замка находилась комната. – Смотрите! Старое высохшее миндальное дерево расцвело. Я вижу ясно цветы при лунном свете.

– Бог простил его! – сказала серьезно Виргиния, поднимаясь на ноги, и лицо ее как будто озарилось ясным, лучезарным сиянием.

– Какой вы ангел! – воскликнул молодой герцог, обнял ее и поцеловал.

VII

Четыре дня спустя после этих страшных событий, около одиннадцати часов ночи из Кентервильского замка двинулся

траурный поезд. Катафалк везли восемь вороных лошадей, и у каждой на голове развевался пышный страусовый султан; свинцовый гроб был завешан роскошным пурпуровым покровом, на котором был золотом вышит герб Кентервилей. Рядом с катафалком и траурными каретами шли с зажженными факелами слуги, и вся процессия производила весьма торжественное впечатление. Лорд Кентервиль, приехавший на похороны специально из Уэльса, в качестве ближайшего родственника ехал в первой карете вместе с маленькой Виргинией. Дальше ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и три мальчика, а в последней карете сидела миссис Эмни. Было единогласно решено, что, раз привидение пугало ее аккуратно в течение пятидесяти лет, она имела полное право проводить его до места последнего упокоения. В углу церковной ограды, под тисовым деревом, была вырыта огромная могила, а заупокойную службу очень торжественно прочитал преподобный Огастес Дампир. Когда обряд предания земле кончился, слуги, согласно древнему обычаю, сохранившемуся в роде Кентервилей, потушили свои факелы; когда же гроб опускали в могилу, Виргиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест из белых и розовых миндальных цветов. Когда она это сделала, из-за тучи показалась луна и залила своим молчаливым серебром всю церковную ограду, а в далекой роще зазвучала песнь соловья. Виргиния вспомнила описанный духом Сад Смерти, и глаза ее помутнели от слез, и по дороге домой она

не проронила ни слова.

На следующее утро, перед тем как лорду Кентервилю вернуться в Лондон, мистер Отис имел с ним беседу по поводу драгоценностей, подаренных Виргинии привидением. Драгоценности эти были великолепны, особенно одно рубиновое ожерелье в венецианской оправе, изумительный образец работы XVI века; ценность их была так велика, что мистер Отис никак не мог решиться позволить своей дочери принять их.

— Милорд, — сказал он, — я знаю, что в вашей стране права наследства простираются как на фамильные драгоценности, так и на поместья, и мне совершенно ясно, что эти вещи принадлежат или должны принадлежать вашему роду. Поэтому я считаю своим долгом просить вас взять их с собою в Лондон и смотреть на них просто как на часть вашей собственности, которая возвращена вам при немного странных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока, к счастью, могу сказать, мало проявляет интерес к подобным принадлежностям ненужной роскоши. Кроме того, меня поставила в известность миссис Отис (могу похвастаться, недюжинный авторитет в вопросах искусства: она в молодости имела счастье провести несколько зим в Бостоне), что эти безделушки имеют большую денежную ценность и при продаже за них можно выручить большую сумму. При этих условиях, лорд Кентервиль, я уверен, вы поймете, что мне никак невозможно допустить, чтобы они остались во владении

нии кого-нибудь из членов моей семьи; да вообще подобные бесполезные игрушки и штучки, как бы ни были они необходимы и соответственны достоинству великобританской аристократии, были бы совершенно лишние для моей дочери, воспитанной на строгих и, я бы сказал, бессмертных принципах республиканской простоты. Я должен, однако, упомянуть, что Виргинии очень хотелось бы, чтобы вы ей позволили оставить себе шкатулку как память о вашем несчастье, но введенном в заблуждение предке. Так как это чрезвычайно древняя и поэтому крайне потрепанная и нуждающаяся в ремонте вещь, то, может быть, вы найдете возможность исполнить ее просьбу. Что касается меня, то, должен сознаться, меня крайне удивляет, как может моя дочь проявлять сочувствие к средневековой, в каком бы то ни было виде, и могу это объяснить только тем, что Виргиния родилась в одном из ваших лондонских пригородов, вскоре после возвращения миссис Отис из поездки в Афины.

Лорд Кентервиль очень сосредоточенно выслушал речь почтенного посланника, лишь изредка покручивая седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку, и, когда мистер Отис кончил, крепко пожал ему руку и сказал:

– Дорогой сэр, ваша очаровательная дочь оказала моему злосчастному предку, сэру Симону, очень большую услугу, и я и моя семья чрезвычайно обязаны ей за ее похвальную смелость и мужество. Драгоценности, безусловно, принадлежат ей, и, клянусь вам, я убежден, что, если бы я был так

бессердечен и отнял их у нее, этот старый грешник вылез бы из могилы меньше чем через две недели и отравил бы мне всю мою жизнь. Что касается того, что они составляют часть майората, то вещь, о которой не упомянуто в юридическом документе, не составляет фамильной собственности, а о существовании этих драгоценностей нигде не упомянуто ни словом. Уверяю вас, что у меня на них не больше прав, чем у вашего лакея, и я уверен, когда мисс Виргиния вырастет, ей будет приятно носить такие красивые безделушки. Кроме того, вы забыли, мистер Отис, что вы у меня купили мебель вместе с привидением, и все, что принадлежало привидению, перешло тогда же в вашу собственность; и какую бы деятельность сэр Симон ни проявлял ночью в коридоре, юридически он был мертв, и вы законно купили все его имущество.

Мистер Отис был очень расстроен отказом лорда Кентервиля и просил его хорошенько обдумать свое решение, но добродушный пэр был очень тверд, и наконец ему удалось уговорить посла разрешить своей дочери оставить себе подарок привидения; когда же весной 18.. года молодая герцогиня Чеширская была представлена королеве на высочайшем приеме, ее драгоценности были предметом всеобщего внимания. Там Виргиния получила герцогскую корону, награду, которую получают все добронравные американские девочки, и вышла замуж за своего юного поклонника, как только он достиг совершеннолетия. Они оба были так оча-

ровательны и так любили друг друга, что все были довольны их браком, кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась заманить герцога для одной из своих семерых дочерей и для этой цели устроила три очень дорогих обеда; как это ни странно, недоволен был также и мистер Отис. Хотя он лично очень любил молодого герцога, но принципиально был врагом всяких титулов и, по его собственным словам, «опасался, что под развращающим влиянием жаждущей только наслаждения аристократии могут быть забыты основные принципы республиканской простоты». Но его возражения были скоро преодолены, и, мне кажется, когда он подходил к алтарю церкви Святого Георгия, что на Ганновер-сквер, ведя под руку свою дочь, не было человека более гордого во всей Англии.

Герцог и герцогиня, как только кончился медовый месяц, поехали в Кентервильский замок и на следующий день после приезда отправились пешком на пустынное кладбище у соснового бора. Сперва долго не могли выбрать надпись для могильной плиты сэра Симона, но наконец решили вырезать на ней просто инициалы его имени и те строки, что были на окне в библиотеке. Герцогиня принесла с собой букет чудесных роз, которыми она посыпала могилу, и, постояв немного над нею, они вошли в развалившийся алтарь старинной церкви. Герцогиня села на опрокинутую колонну, а муж расположился у ее ног, куря папиросу и смотря ей в прекрасные глаза. Вдруг он отбросил папиросу, взял герцогиню за руку

и сказал:

– Виргиния, у тебя не должно быть никаких тайн от мужа.

– Дорогой Сесил, у меня нет никаких тайн от тебя.

– Нет, есть, – ответил он, улыбаясь, – ты мне никогда не рассказывала, что произошло, когда ты заперлась с привидением.

– Я никогда никому этого не рассказывала, Сесил, – сказала Виргиния серьезно.

– Я знаю, но мне рассказать ты могла бы.

– Пожалуйста, не спрашивай меня, Сесил, я не могу рассказать тебе это. Бедный сэр Симон! Я ему многим обязана. Нет, не смейся, Сесил. Я действительно обязана. Он открыл мне, что такое Жизнь, и что такое Смерть, и почему Любовь сильнее Жизни и Смерти.

Герцог встал и нежно поцеловал свою жену.

– Ты можешь хранить свою тайну, пока твое сердце принадлежит мне, – шепнул он.

– Оно всегда было твое, Сесил.

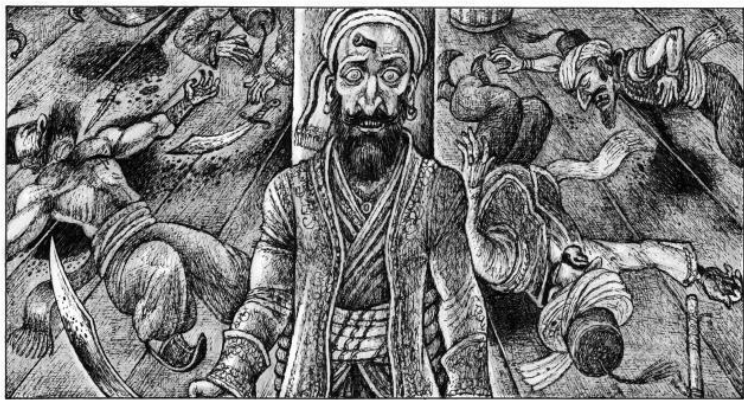
– Но ты расскажешь когда-нибудь нашим детям? Не правда ли?

Виргиния покраснела.

Перевод М. Ликиардопуло, 1887

Вильгельм Гауф

Рассказ о корабле привидений



Мой отец имел в Бальсоре небольшую лавку. Он был ни беден ни богат и был одним из тех людей, которые неохотно решаются на что-нибудь из страха потерять то небольшое, что имеют. Он воспитывал меня просто и хорошо и скоро достиг того, что я мог помогать ему. Как раз в то время, когда мне было восемнадцать лет и когда он совершил первое более крупное предприятие, он умер, вероятно, от печали, что вверил морю тысячу золотых.

Вскоре после этого я должен был считать его смерть счаст-

ливой, так как спустя немного недель пришло известие, что корабль, на который мой отец отдал свои товары, пошел ко дну. Но эта неудача не могла сломить моего юношеского мужества. Я окончательно превратил в деньги все, что оставил мой отец, и отправился испытать свое счастье на чужбине, меня сопровождал только старый слуга моего отца, который по старинной привязанности не хотел расстаться со мной и моей судьбой.

В гавани Бальсоры мы сели на корабль при благоприятном ветре. Корабль, на котором я купил себе место, направлялся в Индию. Мы проехали обычной дорогой уже пятнадцать дней, когда капитан объявил нам о буре. Он был задумчив, потому что в этом месте он, по-видимому, недостаточно знал фарватер, чтобы спокойно встретить бурю. Он велел убрать все паруса, и мы поплыли совсем тихо.

Наступила ночь, было светло и холодно, и капитан уже думал, что обманулся в признаках бури. Вдруг вблизи нашего корабля пронесся другой корабль, которого мы раньше не видали. С его палубы раздавалось дикое ликование и крик, чему я в этот страшный час перед бурей немало удивился. А капитан рядом со мной побледнел как смерть.

– Мой корабль погиб! – воскликнул он. – Там носится смерть!

Еще прежде чем я мог спросить его об этом странном восклицании, уже вбежали с воплем и криком матросы.

– Видели вы его? – кричали они. – Теперь мы погибли!

Капитан велел читать вслух утешительные изречения из Корана и сам встал к рулю. Но напрасно! Видимо, буря разбушевдалась, и не прошло часа, как корабль затрещал и остановился. Были спущены лодки, и едва спаслись последние матросы, как корабль на наших глазах пошел ко дну, и я нищим оказался в открытом море. Но несчастьем еще не было конца. Буря стала свирепствовать страшнее; лодкой уж нельзя было управлять. Я крепко обнял своего старого слугу, и мы пообещали никогда не покидать друг друга.

Наконец наступил день. Но с первым проблеском утренней зари ветер подхватил лодку, в которой мы сидели, и опрокинул ее. Никого из своих моряков я уж не видал. Падение оглушило меня, а когда я очнулся, то находился в объятиях своего старого, верного слуги, который спасся на опрокинутую лодку и вытащил за собою меня.

Буря улеглась. От нашего корабля ничего уж не было видно, но недалеко от себя мы заметили другой корабль, к которому волны несли нас. Когда мы приблизились, я узнал тот самый корабль, который ночью пронесся мимо нас и который навел на капитана такой страх. Я почувствовал странный ужас перед этим кораблем. Заявление капитана, которое так страшно подтвердилось, и безлюдный вид корабля, на котором никто не показывался, как близко мы ни подплывали, как громко ни кричали, испугали меня. Однако это было нашим единственным средством спасения, поэтому мы восхвалили Пророка, который так чудесно сохранил нас.

На носу корабля свешивался длинный канат. Мы стали руками и ногами грести, чтобы схватить его. Наконец это удалось. Я еще раз возвысил голос, но на корабле все оставалось тихо. Тогда мы стали взбираться по канату вверх; я, как более молодой, — впереди. О ужас! Какое зрелище представилось моим глазам, когда я вступил на палубу! Пол был красен от крови; на нем лежало двадцать или тридцать трупов в турецких одеждах; у средней мачты стоял человек, богато одетый и с саблей в руке, но его лицо было бледно и искажено, а через лоб проходил большой гвоздь, которым он был прибит к мачте, и он был мертв.

Ужас сковал мои шаги, я едва смел дышать. Наконец и мой спутник взошел вверх. И его поразил вид палубы, на которой совсем не было видно ничего живого, но лишь столько ужасных мертвецов. Наконец, помолившись в душевном страхе Пророку, мы решили пройти дальше. На каждом шагу мы оглядывались, не представится ли чего-нибудь нового, еще ужаснее. Но все оставалось так как было — нигде ничего живого, кроме нас и океана. Мы даже не решались громко говорить из страха, что мертвый, пригвожденный к мачте капитан направит на нас свои неподвижные глаза или один из мертвецов повернет голову.

Наконец мы подошли к лестнице, которая вела в трюм. Там мы невольно остановились и посмотрели друг на друга, потому что ни один не решался выразить свои мысли прямо.

— Господин, — сказал мой верный слуга, — здесь произошло

что-то ужасное. Однако если даже корабль там внизу наполнен убийцами, все-таки я предпочитаю безусловно сдаться им, чем оставаться среди этих мертвецов.

Я думал так же, как он. Мы собрались с духом и стали спускаться вниз, исполненные ожидания. Но и здесь была мертвая тишина, и только наши шаги раздавались на лестнице. Мы стали у двери каюты. Я приложил ухо к двери и прислушался; ничего не было слышно. Я отворил. Комната представляла беспорядочный вид. Одежда, оружие и утварь – все лежало в беспорядке. Должно быть, команда или по крайней мере капитан недавно бражничали, потому что все было еще разбросано. Мы пошли дальше, из помещения в помещение, из комнаты в комнату; везде мы находили чудные запасы шелка, жемчуга, сахара. При виде этого я был вне себя от радости: ведь так как на корабле никого нет, думал я, то все можно присвоить себе. Но Ибрагим обратил мое внимание на то, что мы, вероятно, еще очень далеко от земли, до которой одни и без человеческой помощи не сможем добраться.

Мы подкрепились кушаньями и напитками, которые нашли в изобилии, и наконец опять поднялись на палубу. Но здесь мы все время дрожали от ужасного вида трупов. Мы решили избавиться от них и выбросить их за борт. Но как страшно нам стало, когда оказалось, что ни один труп нельзя сдвинуть с места. Они лежали на полу как заколдованные, и чтобы удалить их, пришлось бы вынимать пол палубы, а

для этого у нас не было инструментов. Капитана тоже нельзя было оторвать от мачты; мы даже не могли вырвать саблю из его окоченевшей руки.

Мы провели день, печально размышляя о своем положении; когда же стала наступать ночь, я позволил старому Ибрагиму лечь спать. Сам я хотел бодрствовать на палубе, чтобы высмотреть спасение. Но когда взошла луна и я по звездам рассчитал, что, вероятно, сейчас одиннадцатый час, мною овладел такой непреодолимый сон, что я невольно навзничь упал за бочку, которая стояла на палубе. Впрочем, это было скорее оцепенение, чем сон, потому что я ясно слышал удары моря о бок корабля и треск и свист парусов от ветра. Вдруг мне показалось, что я слышу голоса и человеческие шаги по палубе. Я хотел приподняться, чтобы посмотреть, но невидимая сила сковала мои члены — я даже не мог открыть глаза. А голоса становились все яснее; мне казалось, будто по палубе бродит веселый экипаж, а иногда казалось, что я слышу сильный голос командира, причем ясно слышал, как поднимали и опускали канаты и паруса. Но мало-помалу я терял сознание и впадал во все более глубокий сон, во время которого слышал только шум оружия. Проснулся я лишь тогда, когда солнце стояло уже очень высоко и жгло мне лицо.

Я с удивлением посмотрел вокруг себя. Буря, корабль, мертвецы и то, что я слышал в эту ночь, представлялось мне сном; но когда я поднял взор, я нашел все как вчера. Мертве-

цы лежали неподвижно, неподвижен был прибитый к мачте капитан. Я посмеялся над своим сном и встал, чтобы разыскать своего старика.

Он очень задумчиво сидел в каюте.

— Господин! — воскликнул он, когда я вошел к нему. — Я предпочел бы лежать глубоко на дне моря, чем провести еще ночь на этом заколдованном корабле!

Я спросил его о причине его горя, и он отвечал мне:

— Проспав несколько часов, я проснулся и услышал, что над моей головой кто-то бежит взад и вперед. Сперва я подумал, что это вы; но наверху бегали по крайней мере двадцать человек, притом я слышал возгласы и крики. Наконец по лестнице раздались тяжелые шаги. Потом я ничего уж не сознавал; лишь по временам сознание на несколько минут возвращалось ко мне, и тогда я видел, что тот самый человек, который наверху пригвожден к мачте, сидит там, за тем столом, поет и пьет; а тот, который в ярко-красной одежде лежит на полу недалеко от него, сидит около него и пьет вместе с ним.

Так рассказал мне мой старый слуга.

Вы можете поверить мне, друзья мои, что на душе у меня было не очень хорошо; ведь это был не обман, ведь и я отлично слышал мертвецов. Плавать в таком обществе мне было страшно. А мой Ибрагим опять погрузился в глубокую задумчивость.

— Теперь я, кажется, припомнил! — воскликнул он нако-

нец.

Он вспомнил заклинание, которому его научил дедушка, опытный, много путешествовавший человек. Оно должно было помогать против всякой нечистой силы и колдовства; при этом он утверждал, что тот неестественный сон, который овладел нами, в следующую ночь можно отвратить, если очень усердно читать изречения из Корана.

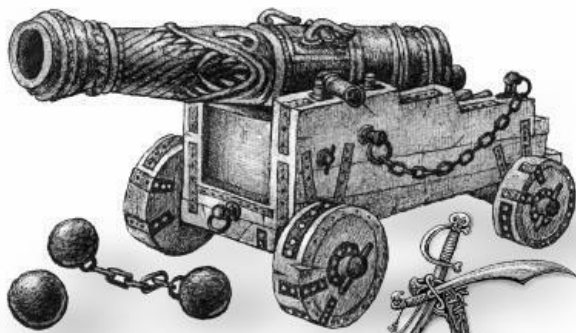
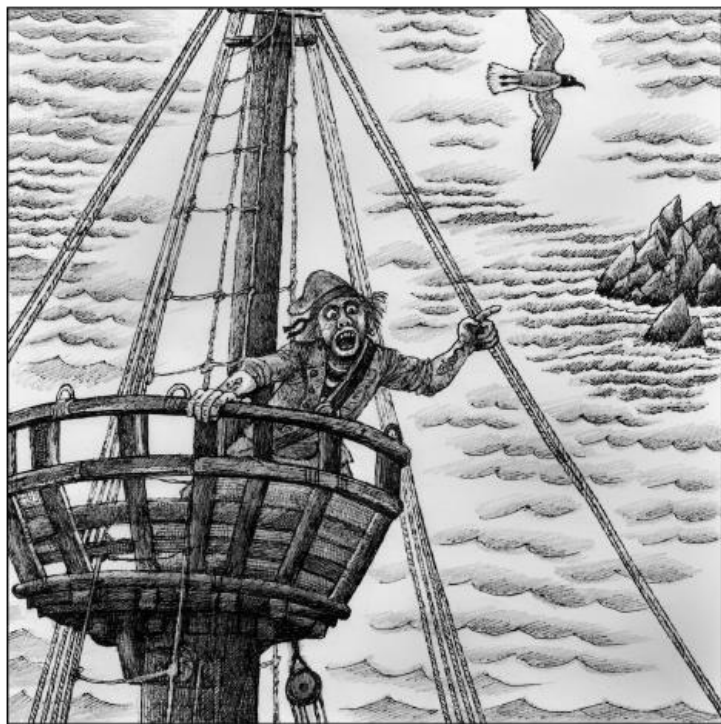
Предложение старика мне очень понравилось. Мы со страхом стали ожидать наступления ночи. Около каюты была маленькая каморка, куда мы решили забраться. В двери мы просверлили несколько отверстий, достаточно больших, чтобы через них видеть всю каюту. Затем мы как можно лучше заперли изнутри дверь, а Ибрагим во всех четырех углах написал имя Пророка. Так мы стали ожидать ночные ужасы. Было, вероятно, опять около одиннадцати часов, когда меня стало сильно клонить ко сну. Поэтому мой товарищ посоветовал мне прочесть несколько изречений Корана, что мне и помогло. Вдруг нам показалось, что наверху становится оживленнее: затрещали канаты, по палубе раздались шаги, и можно было ясно различить голоса. В таком напряженном ожидании мы просидели несколько минут, а затем услышали, что по лестнице каюты кто-то спускается. Когда старик услышал это, он начал произносить заклинание, которому его научил дедушка, — заклинание против нечистой силы и колдовства:

*Из поднебесья ль вы спускаетесь,
Со дна ль морского поднимаетесь,
В темной ли могиле вы спали,
От огня ли начало вы взяли,
У вас повелитель один,
Аллах – ваш господин;
Все вы покорны ему.*

Я должен признаться, что совсем не верил в это заклинание, и у меня дыбом встали волосы, когда распахнулась дверь. Вошел тот высокий, статный человек, которого я видел пригвожденным к мачте. Гвоздь и теперь проходил у него через мозг, но меч был вложен в ножны. За ним вошел еще другой, менее великолепно одетый – и его я видел лежащим наверху. У капитана (ведь это, несомненно, был он) было бледное лицо, большая черная борода и дико блуждающие глаза, которыми он оглядывал всю комнату. Когда он проходил мимо нашей двери, я мог видеть его совершенно ясно, а он, казалось, совсем не обращал внимания на дверь, которая скрывала нас. Оба сели за стол, стоявший посреди не каюты, и громко, почти крича, заговорили между собой на незнакомом языке. Они становились все шумнее и сердитее, пока наконец капитан не ударил кулаком по столу, так что комната задрожала. Другой с диким смехом вскочил и сделал капитану знак следовать за ним. Капитан встал, выхватил из ножен саблю, и оба оставили комнату. Когда они ушли, мы вздохнули свободнее; но нашему страху еще долго

не было конца. На палубе становилось все шумнее и шумнее. Послышалось торопливое беганье взад и вперед, крик, смех и вопли. Наконец поднялся поистине адский шум, так что мы думали, что палуба со всеми парусами упадет на нас, бряцание оружия и крик — и вдруг наступила глубокая тишина. Когда мы спустя много часов решились взойти наверх, мы нашли все по-прежнему: ни один труп не лежал иначе, нежели раньше. Все были неподвижны, как деревянные.

Так мы пробыли на корабле несколько дней. Он шел все на восток, туда, где, по моему расчету, должна была лежать земля; но если даже днем он проходил много миль, то ночью, по-видимому, всегда возвращался назад, потому что, когда всходило солнце, мы находились всегда опять на том же месте. Мы могли объяснить себе это не иначе как тем, что мертвецы каждую ночь на всех парусах плыли назад. Чтобы предотвратить это, мы до наступления ночи убрали все паруса и прибегли к тому же средству, как у двери в каюте: мы написали на пергаменте имя Пророка, а также заклинание дедушки, и привязали его к собранным парусам. Мы со страхом стали ожидать в своей каморке последствий. Нечистая сила неистовствовала на этот раз, казалось, еще злобнее; но на другое утро паруса были еще скатаны, как мы их оставили. В течение дня мы поднимали лишь столько парусов, сколько было необходимо, чтобы корабль тихо плыл дальше, и таким образом в пять дней прошли хорошее расстояние.



Наконец утром шестого дня мы на незначительном расстоянии заметили землю и возблагодарили Аллаха и его Пророка за свое чудесное спасение. Этот день и следующую ночь мы плыли у берега, а на седьмое утро нам показалось, что недалеко виднеется город. С большим трудом мы бросили в море якорь, который тотчас захватил землю, спустили маленькую лодку, стоявшую на палубе, и изо всей силы стали грести к городу. Спустя полчаса мы вошли в реку, которая вливалась в море, и вступили на берег. В городских воротах мы осведомились, как называется город, и узнали, что это индийский город, недалеко от того места, куда я сперва хотел ехать. Мы отправились в караван-сарай и подкрепились после своего путешествия, исполненного приключений. Там же я стал спрашивать о каком-нибудь мудром и разумном человеке, давая хозяину понять, что я хотел бы иметь такого, который немного понимает в колдовстве. Он повел меня в отдаленную улицу, к невзрачному дому, постучался, и меня впустили, с указанием, что я должен спросить Мулея.

В доме навстречу ко мне вышел старый человечек с седой бородою и длинным носом. Он спросил, что мне надо. Я сказал ему, что ищу мудрого Мулея, и он отвечал мне, что это он сам. Я спросил у него совета, что мне сделать с мертвецами и как мне взяться за дело, чтобы снять их с корабля. Он отвечал мне, что люди на корабле, вероятно, заколдованы за какое-нибудь злодеяние относительно моря. Он думает, что

колдовство будет разрушено, если принести их на землю, а это можно сделать, только вырвав доски, на которых они лежат.

По всей правде и справедливости корабль вместе со всеми товарами принадлежит мне, потому что я, так сказать, нашел его, но я должен все держать в большой тайне и сделать ему от своего избытка маленький подарок. За это он своими рабами поможет мне убрать мертвецов. Я обещал щедро наградить его, и с пятью рабами, снабженными топорами и пилами, мы отправились в дорогу. По дороге волшебник Мулей очень хвалил нашу счастливую выдумку обертывать паруса изречениями Корана. Он сказал, что это было единственным средством нашего спасения.

Когда мы прибыли на корабль, было еще довольно рано. Мы все тотчас же принялись за дело, и через час в челноке уже лежали четыре трупа. Некоторые из рабов должны были отвезти их на землю, чтобы там зарыть их. Вернувшись, они рассказали, что мертвецы избавили от труда погребать их, рассыпавшись в пыль, как только их положили на землю. Мы продолжали отпиливать мертвецов, и до вечера все они были свезены на землю. Наконец на борту никого больше не было, кроме пригвожденного к мачте. Мы напрасно старались вытащить из дерева гвоздь, никакая сила не могла подвинуть его даже на волос. Я не знал, что делать, — нельзя же было срубить мачту, чтобы отвезти ее на землю! Но в этом затруднении помог Мулей. Он быстро велел рабу съездить на

берег и привезти горшок земли. Когда горшок был привезен, волшебник произнес над ним таинственные слова и высыпал землю на голову мертвеца. Последний тотчас открыл глаза и глубоко вздохнул, а на лбу из раны от гвоздя потекла кровь. Теперь мы легко вытащили гвоздь, и раненый упал на руки одного из рабов.

– Кто привез меня сюда? – спросил он, немного придя, по-видимому, в чувство.

Мулей указал на меня, и я подошел к нему.

– Благодарю тебя, неизвестный чужестранец, ты избавил меня от долгих мучений. Уже пятьдесят лет мое тело плавает по этим волнам, а моя душа была осуждена каждую ночь возвращаться в него. Но теперь моя голова коснулась земли, и я, примирившись, могу наконец пойти к своим отцам.

Я попросил его сказать все-таки нам, как он дошел до этого ужасного состояния, и он сказал:

– Пятьдесят лет тому назад я был могущественным, знатным человеком и жил в Алжире; страсть к наживе заставила меня снарядить корабль и заняться морским разбоем. Я продолжал это занятие уже много времени, и вот однажды на острове Занте я взял на корабль дервиша, который хотел ехать даром. Я и мои товарищи были грубыми людьми и не уважали святости этого человека; я даже насмеялся над ним. А когда он однажды, в святом рвении, упрекнул меня моим грешным образом жизни, ночью в каюте, когда я со своим штурманом много выпил, – мною овладел гнев.

Взбешенный тем, что сказал мне дервиш и чего я не позволил бы сказать мне ни одному султану, я бросился на палубу и вонзил ему в грудь свой кинжал. Умирая, он проклял меня и мой экипаж, чтобы нам не умирать и не жить, до тех пор пока мы не положим своей головы на землю. Дервиш умер, мы выбросили его в море и осмеяли его угрозы. Но его слова исполнились еще в ту же ночь. Часть моего экипажа возмутилась против меня. Борьба шла со страшной яростью, пока мои приверженцы не погибли, а я не был пригвожден к мачте. Но и мятежники погибли от ран, и скоро мой корабль был только большой могилой. У меня тоже помутились глаза, остановилось дыхание. Я думал, что умру. Но это было только оцепенение, которое сковало меня. На следующую ночь, в тот самый час, когда мы бросили дервиша в море, я и все мои товарищи проснулись. Жизнь возвратилась к нам, но мы могли делать и говорить только то, что говорили и делали в ту ночь. Так мы плаваем уже пятьдесят лет, не можем ни жить ни умереть; в самом деле, как мы могли достигнуть земли? С безумной радостью мы всегда плыли на всех парусах в бурю, надеясь разбиться наконец об утес и сложить усталую голову на дне моря. Это нам не удавалось. Но теперь я умру. Еще раз благодарю тебя, неведомый спаситель! Если сокровища могут наградить тебя, то в знак благодарности возьми мой корабль!

Сказав это, капитан склонил свою голову и умер. И он, как и его товарищи, тотчас же рассыпался в пыль. Мы собрали ее

в ящичек и зарыли на берегу, а из города я взял работников, которые привели мой корабль в хорошее состояние.

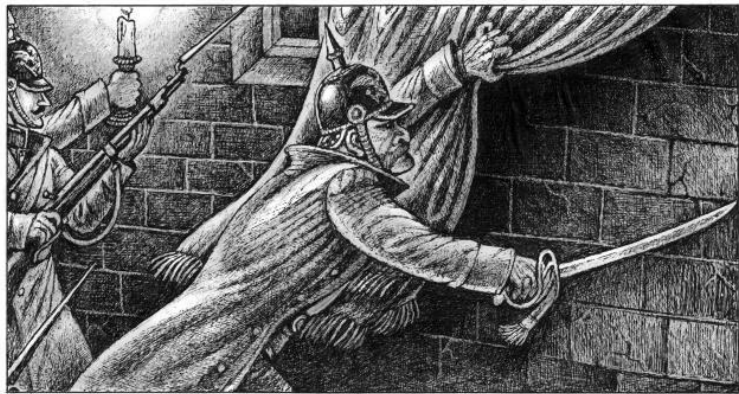
С большой выгодой обменяв товары, бывшие у меня на корабле, на другие, я нанял матросов, щедро одарил своего друга Мулея и отплыл в свое отечество. Но я сделал крюк, приставаая ко многим островам и странам и вынося свои товары на рынок. Пророк благословил мое предприятие. Спустя три четверти года я приехал в Бальсору вдвое богаче, чем сделал меня умерший капитан. Мои сограждане были изумлены моими богатствами и моим счастьем и не сомневались в том, что я нашел алмазную долину знаменитого путешественника Синдбада. Я оставил их в этой уверенности, но с этих пор молодые люди Бальсоры, едва достигнув восемнадцати лет, должны были отправляться по свету, чтобы подобно мне составить свое счастье. А я живу спокойно и мирно и каждые пять лет совершаю путешествие в Мекку, чтобы в святом месте благодарить Аллаха за его благословение и просить за капитана и его людей, чтобы Он принял их в свой рай.

Перевод Н. Полевого, 1825



Артур Конан Дойл

Владелец Черного замка



Случилось это в те дни, когда немецкие полчища наводнили Францию. Разбитая армия молодой республики отступила за Эн на север и за Луару на юг. От Рейна внутрь страны неудержимо стремились три потока вооруженных людей. Эти потоки то отделялись друг от друга, то сближались, но все эти движения имели своею целью Париж, вокруг которого они должны были слиться в одно громадное озеро.

От этого озера в свою очередь стали отделяться реки. Одна потекла к северу, другая – к югу, вплоть до Орлеана, тре-

тъя – на запад, в Нормандию. Многие из немецких солдат увидели впервые в своей жизни море. Их кони купались в соленых волнах около Дьеппа.

Печально-гневные чувства угнетали французов. Враг наложил клеймо позора на их прекрасную родину. Они сражались за отечество, но были побеждены. Они боролись и ничего не могли сделать с этой сильной кавалерией, с этими бесчисленными пехотинцами, с этими убийственными артиллерийскими орудиями. Иноплеменники, захватившие их родину, были неуязвимы в массе. Единственно, что оставалось французам, – это бить их поодиночке. Тут еще можно было уравнивать шансы. Храбрый француз еще мог заставить немца пожалеть о том дне, когда он оставил берега Рейна. И таким-то образом вспыхнула совсем особенная, не записанная в летописях сражений и осад, война. Это была война индивидуумов, где главную роль играли убийство из-за угла и грубая репрессия.

Особенно сильно пострадал от этой войны начальник 24-го Познанского пехотного полка, полковник фон Грамм. Стоял он со своим полком в нормандском городке Лэз-Андэли, а его аванпосты и пикеты были рассредоточены вокруг города, в деревушках и хуторках окрестности.

Французских войск нигде поблизости не было, но, несмотря на это, каждый день полковнику приходилось выслушивать пренеприятные рапорты. То часовой оказался убитым на своем посту, то пропала без вести партия солдат,

отправившаяся на фуражировку. При таких известиях полковник фон-Грамм обыкновенно приходил в ярость, и пламя пожара охватывало хутора, ближайшие к месту преступления, и деревенские жители дрожали.

Но эти экзекуции пользы не приносили, и на следующее утро начиналась та же самая история. Что ни делал полковник, он никак не мог усмирить своих невидимых врагов. По некоторым признакам можно было догадываться, что все эти преступления совершались одной и той же рукой, шли из одного источника.

Полковник фон Грамм попробовал, как было уже сказано, отвечать на насилия насилиями, и потерпел неудачу. Тогда он обратился к помощи золота. Всем окрестным крестьянам было объявлено, что тот, кто укажет преступника, получит пятьсот франков награды. На это объявление не получилось никакого ответа. Награду пришлось повесить до восьмисот франков, но крестьяне оказались и на этот раз неподкупными. В этот момент неизвестный враг зарезал капрала, и полковник добрался до тысячи франков. Этой суммой ему удалось купить душу одного рабочего на ферме, некоего Франсуа Режана. Скупость пересилила в нем ненависть к немцам.

– Ты говоришь, что знаешь виновника всех этих преступлений? – спросил, с презрением оглядев рабочего, прусский полковник.

Перед ним стояло существо в синей блузе, лицом своим напоминавшее крысу.

– Да, полковник, знаю.

– Кто же он такой?

– А насчет тысячи франков как же?

– Ты не получишь ни копейки до тех пор, пока я не проверю твоих слов. Ну, кто убивал моих солдат?

– Граф Евстафий из Черного замка.

– Лжешь! – сердито закричал полковник. – Образованный человек и дворянин не может делать подобных мерзостей.

Крестьянин пожал плечами.

– Ну, полковник, сейчас видно, что вы не знаете графа. Все эти убийства – дело его рук. Я вам говорю правду и ни капельки не боюсь того, что вы хотите меня проверять. Граф из Черного замка очень жестокий человек. Он и прежде-то был не из добреньких, ну а теперь превратился прямо-таки во зверя. Это на него, извольте видеть, смерть сына подействовала. Сынок-то его, видите ли, взят в плен под Дуэ. Оттуда его отправили в Германию, а после он бежал и умер. У графа был один только сын, и его смерть прямо свела старика с ума. Мы промеж себя его за сумасшедшего почитаем. Он собрал своих крестьян и начал охотиться за немецкой армией. Скольких он убил, не могу сказать, а только знаю, что он у всех убитых крест на лбу вырезает. Крест – это герб его фамилии.

Франсуа Режан говорил правду. У всех убитых над бровями оказывался, точно охотничьим ножом вырезанный, андреевский крест. Полковник наклонился над столом и стал

водить пальцем по карте.

– Черный замок отстоит отсюда не далее чем четыре лиги, – сказал он.

– Три лиги и километр, полковник.

– Ты место знаешь?

– Как же! Я там работал на поденной.

Полковник фон Грамм позвонил.

– Дай этому человеку поесть и задержи его, – сказал он вошедшему сержанту.

– За что же меня задерживать, полковник? Я все вам сказал.

– Ты будешь нашим проводником.

– Проводником?! А граф? Помилуй Господи попасть в его руки! Ах, полковник!..

Прусский полковник махнул рукой, давая Режану понять, чтоб он молчал.

– Пошли ко мне немедленно капитана Баумгартена, – сказал он, обращаясь к сержанту.

Капитан явился немедленно. Это был человек средних лет, с голубыми глазами и непомерно развитыми челюстями. Лицо у капитана Баумгартена было кирпично-красное, за исключением верхней части лба, которая, будучи защищенной от воздуха и солнца медной каской, сохранила белый, точно слоновая кость, цвет. Рыжие усы были лихо закручены вверх. Голова была у капитана совершенно плешивая и блестя, как зеркало. Младшие офицеры, ради шутки, подкра-

дывались к капитану сзади и, глядя в лысину, подкручивали себе усы. Капитан считался несколько медлительным, но надежным и храбрым офицером. Полковник безусловно доверялся ему.

– Вы отправитесь этой ночью в Черный замок, капитан, – произнес полковник фон Грамм, – проводника я вам достал. Вы арестуете графа и приведете его сюда. Если он будет сопротивляться, можете его застрелить.

– Сколько людей брать с собою, полковник?

– Мы окружены шпионами, и надо беспокоиться о том, чтобы захватить его невзначай. Он не должен знать, что мы за ним охотимся. Если взять много солдат, все заметят наши приготовления. С другой стороны, нам нельзя и рисковать. Вас могут окружить.

– Полковник, я вот как поступлю. Я двинусь на север, и все подумают, что вы меня отправили к генералу Гебену, а затем – поглядите-ка, вот тут на карте – я поверну на эту дорогу, и мы окружим Черный замок прежде, чем французы успеют опомниться. Полагаю, что при таком плане мне будет достаточно двадцати солдат...

– Очень хорошо, капитан. Надеюсь увидеться с вами и вашим пленником завтра утром.

Была холодная декабрьская ночь, когда капитан Баумгартен и его двадцать познанцев выступили из Лэз-Андэли и двинулись по большой дороге в северо-западном направлении. Пройдя две мили, отряд повернул на узкую лесную тро-

пинку и быстро двинулся к месту своего назначения. Моросил холодный мелкий дождь, и капли его стучали по сучьям высоких тополей или шуршали в мертвой траве лужаек. Капитан шел впереди, рядом со старым сержантом Мозером, который крепко держал за руку Франсуа Режана. Предварительно он успел шепнуть французу на ухо, что в случае внезапного нападения первая пуля, которая вылетит из винтовки, будет направлена ему в висок. Сзади шлепали по мокрой земле двадцать пехотинцев, пряча лица от дождя и спотыкаясь в темноте. Солдаты знали, куда и зачем они идут, и радовались. Им хотелось отомстить за смерть своих товарищей.

Из Лэз-Андэли отряд вышел около восьми часов вечера. В половине двенадцатого их проводник остановился перед воротами. Ворота были железные, решетчатые и были укреплены между двумя каменными столбами с геральдическими украшениями. Стен давно не существовало, и камни были покрыты терновыми кустами и травой. Пруссак проникли внутрь и начали осторожно продвигаться вперед по дубовой аллее, засыпанной опавшими листьями. Пройдя аллею, они остановились и начали оглядывать местность.

Перед ними находился Черный замок. Месяц, выглянувший из-за дождевых туч, обливал старый дом своими серебряными лучами. Дом имел вид римской буквы L. В середине виднелась низкая сводчатая дверь. Ряды маленьких окон напоминали открытые бойницы броненосца. Темная крыша обрывалась в углах, где возвышались четыре небольшие ба-

шенки. Дом словно спал в молчаливом месячном свете. В одном из окон нижнего этажа сиял одинокий огонек.

Капитан начал отдавать шепотом приказания. Некоторым из солдат он велел стеречь парадный вход, другим было поручено прокрасться к задней двери. Одни стали на караул у восточной части дома, другие – у западной. Сам он с сержантом прокрался на цыпочках к освещенному окошку.

Это была небольшая и убого обставленная комната.

Пожилой человек в халате сидел в кресле и читал при свете оплывающей свечки изорванную газету. Рядом с ним на столе стояла бутылка с белым вином и наполовину опорожненный стакан. Сержант постучал штыком в окно. Старик пронзительно взвизгнул и вскочил с кресла.

– Молчать – или вы умрете. Дом окружен. Бежать некуда. Идите и немедленно отоприте нам дверь. Если выслушаетесь, вам не будет пощады.

– Ради Бога, не стреляйте! Я отопру дверь! Я отопру дверь!

И старик со смятой газетой в руке бросился вон из комнаты. Через секунду послышалось звяканье замков, стук поднимаемых болтов, и маленькая дверь отворилась. Пруссак ворвались в вымощенные каменными плитами сени.

– Где владелец Черного замка, граф Евстафий?

– Мой господин? Его нет дома.

– Это ночью-то? Если вы лжете, то попрощайтесь с жизнью.

— Я говорю правду, господин. Его сиятельства нет дома.

— А где же он?

— Я не знаю.

— Что он делает теперь?

— Не могу сказать этого. Господин, вы напрасно на меня нацеливаетесь. Убейте меня, если хотите, но чего я не знаю, того не могу вам сообщить.

— И часто граф отлучается таким образом по ночам?

— Часто.

— И когда он возвращается домой?

— Перед рассветом.

Капитан Баумгартен пустил крепкое немецкое ругательство. Выходит, что он даром потратил день. Ответы этого человека были искренни, и, конечно, он говорил правду. Впрочем, этого нужно было ожидать. Так или иначе, но нужно все-таки обыскать дом и удостовериться в отсутствии хозяина. Поставив пикеты у обеих дверей, капитан и сержант пошли по дому вслед за дрожащим дворецким. Свечка танцевала в его руке, и странные тени бегали по старинным обоям и резному дубовому потолку. Таким образом был осмотрен весь дом, начиная от громадной, вымощенной каменными плитами кухни и кончая столовой во втором этаже. Это была огромная зала с хорами для музыкантов; стены ее были почерневшими от времени панелями. Нигде не было ни живой души. В самом верхнем этаже, на чердаке, они нашли пожилую жену дворецкого, Мари. Эти муж и жена были един-

ственными слугами графа. Самого его нигде в доме не было. Даже следов его присутствия не замечалось.

Обыск продолжался долго, и прошло много времени, прежде нежели капитан Баумгартен удостоверился в справедливости слов дворецкого. Трудно было осматривать этот дом. Узкие крутые лестницы, по которым нельзя было идти двоим в ряд, перемежались темными, извилистыми коридорами. Стены были так толсты, что звуков в соседней комнате совсем не было слышно. Капитан Баумгартен топал ногами, срывал занавеси, тыкал саблей в углы, надеясь найти потайные места, но эти поиски не привели ни к каким результатам.

— У меня есть одна идея, — сказал он наконец по-немецки сержанту. — Вы смотрите за этим молодцом и не позволяйте ему ни с кем сообщаться.

— Слушаю, господин капитан.

— Четырех человек вы поместите в засаду у передней двери и столько же у задней. Дело похоже на то, что на рассвете птичка прилетит в свое гнездышко.

— А прочие солдаты, господин капитан?

— Пусть они отправляются на кухню ужинать. Этот человек должен подать нам вина и мяса. Погода сегодня отвратительная, и будет лучше, если мы проведем ночь здесь, чем в дороге.

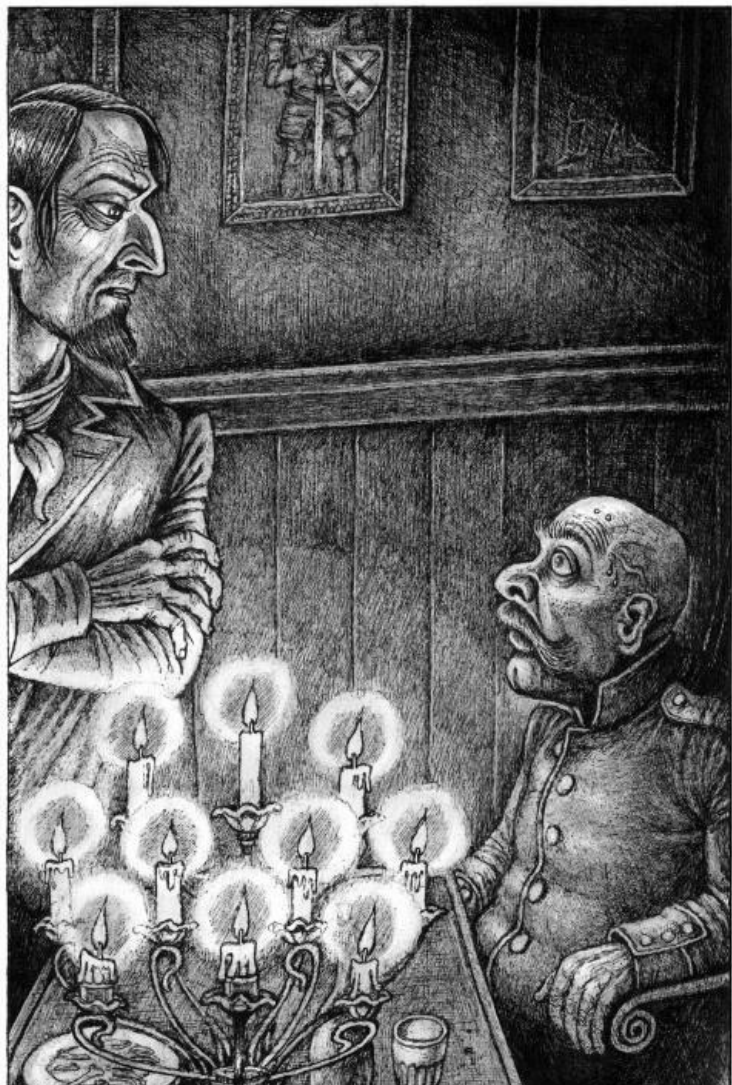
— А вы сами где устроитесь, господин капитан?

— Я поужинаю здесь, в столовой. Дрова в камине есть, и его легко затопить. В случае тревоги вы меня позовете. Эй

вы! Что вы можете дать нам на ужин?

– Увы, господин, были времена, когда я мог бы ответить на этот вопрос: «Все, что вы пожелаете», – но теперь я могу найти для вас только бутылку молодого кларета и холодного цыпленка.

– Ну что же, этого достаточно. Пошлите с ним солдата, сержанта, и, если он вздумает шутить какие-нибудь штучки, пусть солдат всадит ему в брюхо штык.



Капитан Баумгартен был старый служака. Прослужив много лет в Восточной Пруссии и сделав Богемскую кампанию, он в совершенстве постиг искусство комфортабельно устраиваться в неприятельских странах. Пока дворецкий готовил ужин, он начал готовиться к комфортабельному отдыху на ночь. Он зажег все десять свечей на канделябре, который стоял посредине стола. Огонь в камине уже пылал, причем дрова весело потрескивали и выкидывали по временам клубы голубого дыма. Капитан приблизился к окну и выглянул во двор. Луна снова скрылась в тучах, и шел сильный дождь. Слышны были глухие завывания ветра и шум гнущихся под его напором деревьев. Капитану стало особенно приятно, что он находится в эту бурную ночь в теплой и светлой комнате, и он с удвоенным удовольствием принялся за холодную курицу и кларет, которые ему подал дворецкий. После долгой ходьбы он чувствовал усталость и голод. Он отстегнул саблю, снял револьвер и каску и положил все это на кресло рядом с собой, а затем с аппетитом принялся есть. Поужинав, он налил стакан вина, закурил сигарету и, развалившись в кресле, оглянулся кругом.

Он сидел в небольшом кружке яркого света, который играл на его серебряных эполетах и освещал его терракотовое лицо, густые брови и рыжие усы. Вне этого светлого круга царили тени и мрак, и предметы, наполнявшие столовую, различались с трудом.

Две стены столовой были отделаны дубовыми панелями, другие две покрыты выцветшими гобеленами, на которых была изображена охота за оленем. Охотники и стая собак стремительно неслись вперед за зверем. Над очагом виднелся ряд геральдических щитов, на которых были изображены гербы фамилии и родственников семейств. Особенное внимание капитан Баумгартен обратил на роковой андреевский крест, резко выделявшийся на геральдическом поле.

Против камина висели четыре портрета предков графа — это были люди со смелыми, высокомерными лицами и орлиными носами. Друг от друга они отличались только костюмами. Один был в одеянии рыцаря эпохи Крестовых походов, другой был одет кавалером времен Фронды.

Капитан Баумгартен покушал очень сытно и ощущал некоторую тяжесть. Откинувшись на спинку кресла и пуская густые клубы табачного дыма, он глядел на эти старинные портреты и думал о превратности исторических судеб. Кто бы мог подумать, что ему, смиренному уроженцу далекой Балтики, придется ужинать в великолепном родовом замке этих гордых рыцарей Нормандии?

Камин обдавал капитана своей приятной теплотой, и глаза его начали смыкаться. Подбородок наконец упал на грудь, и свет десяти свечей канделябра весело заиграл на его блестящей лысине. От этого сна его разбудил осторожный шум. В первый момент после пробуждения капитану Баумгартену показалось, что один из старинных портретов, висевших на

стене напротив, выскочил из рамки и разгуливает по комнате. Около стола, совсем близко от него, стоял человек громадного роста. Он стоял молча и неподвижно, до такой степени неподвижно, что его можно было бы счесть за мертвого, если бы не жесткий блеск глаз. Он был черноволос и смугл, с небольшой черной бородой. Всего более на лице выделялся большой орлиный нос. Щеки были покрыты морщинами и напоминали печеное яблоко, но старость не успела еще подорвать физическую силу. На это указывали широкие плечи и костистые, узловатые руки. Человек стоял, скрестив руки на впалой груди, губы его застыли в неподвижной улыбке. Пруссак бросил быстрый взгляд на кресло, на которое он сложил свое оружие. Кресло было пусто.

– Прошу вас не беспокоиться и не искать вашего оружия, – произнес незнакомец. – Если вы позволите, я осмелюсь выразить свое мнение. Вы поступили очень неосторожно, расположившись, как дома, в замке, который весь состоит из тайных входов и выходов. Вам, может быть, это покажется смешным, но в то время, как вы ужинали, вас стерегли сорок человек...

Ага! Это еще что такое?

Капитан Баумгартен, сжав кулаки, кинулся вперед. Француз поднял правую руку, в которой блеснул револьвер, а левой сгреб немца за грудь и швырнул его в кресло.

– Прошу вас сидеть спокойно, – сказал он, – о солдатах своих, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы их устроили уже

как следует. Эти каменные полы прямо удивительны. Сидя наверху, вы совсем не слышите того, что делается внизу. Да, мы освободили вас от вашей команды, и вам приходится теперь думать только о самом себе. Вы позволите мне узнать, как вас зовут?

– Я – капитан Баумгартен из 24-го Познанского полка.

– Вы прекрасно говорите по-французски, хотя в вашем произношении и есть общая вашим соотечественникам склонность превращать букву *n* в *b*. Я ужасно смеялся, слушая, как ваши солдаты кричали: “avez bitie sur moi”. Вы, по всей вероятности, догадываетесь, кто имеет честь беседовать с вами?

– Вы – граф Черного замка?

– Совершенно верно. Я был бы очень огорчен, если бы вы покинули мой замок, не повидавшись со мной. До сих пор мне приходилось иметь дела с немецкими солдатами. Что касается господ офицеров, то я до сих пор не имел счастья беседовать с ними. Вы – первый, и мне надо будет с вами как следует поговорить.

Капитан Баумгартен сидел, точно застыв в своем кресле. Он был не робкого десятка, но этот человек точно его гипнотизировал – он чувствовал страх, мурашки бегали по спине. Растерянно он оглядывался по сторонам, ища исчезнувшее оружие. Бороться же без оружия с этим великаном было бесполезно. Он его швырнул, как ребенка, в кресло.

Граф взял в руки пустую бутылку и поглядел в нее на свет.

– Ай, ай, ай! Неужели Пьер не мог вам предложить ничего получше? Мне прямо стыдно глядеть на вас, капитан Баумгартен. Впрочем, мы сейчас исправим этот промах.

Он приложил к губам свисток, который был при нем на груди. На этот зов явился немедленно старый слуга.

– Шамбертен из отделения № 15! – крикнул граф.

Через минуту слуга явился снова, неся с осторожностью покрытую паутиной серую бутылку. Граф налил два стакана.

– Пейте, – сказал он, – это лучшее вино моего погреба. Такого Шамбертена вы не найдете нигде от Руана до Парижа. Пейте, милостивый государь, и будьте счастливы. У меня есть еще холодное мясо и два свежих омара, только что доставленные из Гонфлера. Позвольте мне предложить вам второй, более изысканный ужин?

Немецкий офицер отрицательно потряс головой, но налитый хозяином стакан осушил до дна. Граф налил второй стакан и начал упрашивать гостя покушать, предлагая ему разные вкусные снеди.

– Все, что находится в этом доме, к вашим услугам, – говорил он, – вы только приказывайте. Не хотите – как угодно; в таком случае кушайте вино, а я вам буду рассказывать одну историю. Мне давно уже хотелось рассказать эту историю какому-нибудь немецкому офицеру. Я буду говорить вам о моем сыне Евстафии, моем единственном сыне. Он был взят в плен и умер во время бегства из плена. Это презанимательная историйка, и мне кажется, я могу вам обещать, что вы

никогда ее не забудете.

Надо вам сказать, капитан Баумгартен, что мой сын служил в артиллерии. Это был красивый мальчик, и мать справедливо гордилась им. Она умерла неделю спустя после того, как мы узнали о его смерти. Новость эту нам принес его товарищ, офицер. Они были вместе взяты в плен и вместе бежали. Ему удалось бежать, а мой мальчик умер. Я вам, капитан, расскажу все, что сообщил мне этот офицер.

Евстафия взяли в плен в Вейссенбурге 4-го августа. Пленников разделили на партии и отправили в Германию разными дорогами. 5-го числа Евстафий был приведен в деревню Лаутебург. Главный немецкий офицер обошелся с ним очень ласково. Этот добрый полковник зазвал моего голодного мальчишку к себе ужинать, предложил ему все, что мог, откупорил бутылку хорошего вина – одним словом, поступил с моим сыном так, как я с вами. В заключение он предложил ему сигару. Могу ли я просить вас, капитан, выбрать себе сигару?

Немец отрицательно качнул головой. Им начинал овладевать ужас. Губы странного собеседника улыбались, но глаза его горели ненавистью.

– Да, – продолжал граф, – этот полковник был добр к моему мальчику. Но, к сожалению, на следующий же день военнопленных отправили в Этлинген, по ту сторону Рейна. Там им не повезло. Один из офицеров, наблюдавший за ними, капитан Баумгартен, был невежда и негодяй. Он нахо-

дил удовольствие в том, чтобы унижать и оскорблять храбрых офицеров, попавших ему под власть. Мой сын ответил грубо на одно из его издевательств, и он его ударил прямо в глаз... Вот так ударил!

Звук этого удара раздался по столовой. Немецкий офицер схватился за лицо руками, и его пальцы мгновенно обагрились кровью. Граф снова уселся в кресло и продолжал:

— Лицо моего мальчика было обезображено этим ударом, и это обстоятельство послужило поводом для новых издевательств этого офицера. Кстати, капитан, у вас сейчас уже смешное лицо. Если бы и вас теперь увидал ваш полковник, то он, наверное, догадался бы, что вы побывали в хорошей переделке. Однако я возвращаюсь к моему рассказу. Молодость и несчастное положение моего сына тронули сердце одного добросердечного майора, и он дал ему на честное слово займы десять наполеондоров. Эти десять золотых монет я возвращаю вам, капитан Баумгартен. Иначе я поступить не могу, так как имя этого доброго майора мне неизвестно. Я глубоко, сердечно благодарен за это доброе отношение к моему сыну.

Гнусный тиран, однако, продолжал сопровождать военнопленных до Дурлаха и далее до Карлсруэ. Сына моего он продолжал обижать и оскорблять всячески. Его сердило то, что мой мальчик держал себя гордо. Он не хотел выказывать притворной покорности этому немцу, он был горд, в нем жил дух Черного замка. И знаете, что делал с Евстафием этот

подлый негодай? О, клянусь, кровь его еще обогрится моей рукой!.. Он награждал моего мальчика пощечинами, бил его, вырывал волосы из его усов. Он с ним поступал... вот так... вот этак... и опять-таки вот так...

Напрасно капитан Баумгартен силился вырваться и спастись. Он был беспомощен в железных руках этого страшного гиганта, который истязал его всяческим образом. Когда ему наконец удалось подняться на ноги, граф снова швырнул его в кресло. Капитан был окровавлен, кровь заливала ему глаза, он ничего не видел перед собою.

Не помня себя от гнева и стыда, несчастный офицер теперь громко рыдал.

– Вот и мой сын так же плакал от бессильного унижения, – продолжал владелец Черного замка. – Надеюсь, вы теперь хорошо понимаете, как ужасно чувствовать себя беспомощным в руках дерзкого и бессовестного врага. Сын мой наконец прибыл в Карлсруэ. Лицо его было совершенно изуродовано злым надсмотрщиком. В Карлсруэ в нем принял участие один молодой баварский офицер. Капитан, ваши глаза в крови. Позвольте мне обмыть ваше лицо холодной водой и обвязать его этим шелковым платком?

Граф сделал движение к немцу, но тот отстранил его.

– Я в вашей власти, чудовище! Вы можете надо мною надругаться, но ваше лицемерное участие невыносимо.

– Я не лицемерю, – сказал он, – я только рассказываю события в их последовательном порядке. Я дал себе слово рас-

сказать историю моего сына первому немецкому офицеру, с которым мне придется поговорить tête à tête. Однако, о чем я вам говорил? Да, о баварском офицере из Карлсруэ. Мне очень жаль, капитан, что вы не хотите воспользоваться моими слабыми познаниями в медицине... В Карлсруэ моего сына заперли в старые казармы, и в них он прожил две недели. По вечерам он сидел у окна своего каземата, а грубые гарнизонные крысы издевались над ним; это было самое худшее для сына в Карлсруэ. Кстати, капитан, мне кажется, вы сейчас не на розах покоетесь? Вы вздумали растравить волка, а волк вас самих схватил за горло зубами, не правда ли? Как красиво у вас вышита рубашка, должно быть, ее жена вышила? Жаль мне вашу жену, впрочем, чего ее жалеть? Одной вдовой больше, одной вдовой меньше – не все ли равно! Да впрочем, она сумеет скоро сыскать себе утешителя... Куда ты лезешь, немецкая собака, сиди смирно! Ну, я продолжаю свою историю. Просидев две недели в казармах, мой сын и его товарищ бежали. Не стану вам рассказывать об опасностях, которым они подвергались, ни о лишениях, которые им приходилось терпеть. Достаточно сказать, что они шли в одежде крестьян, которых им посчастливилось встретить в лесу. Днем они прятались где-нибудь, а по ночам шли. Добрались они таким образом до Ремильи во Франции. Им оставалось пройти милю, одну только милю, капитан, для того чтобы быть в полной безопасности. Но как раз тут их захватил уланский патруль. Ах, как это было тяжело, не правда

ли? Ведь это значило потерпеть крушение у самой пристани.

Граф два раза свистнул, и в комнату вошли три дюжих мужика.

– Эти крестьяне будут играть роль моих уланов, – сказал граф. – Продолжаю свою историю: капитан этих уланов сразу же сообразил, что имеет дело с переодетыми в штатское французскими офицерами, и велел их повесить без суда и следствия... Жан, я думаю, что средняя балка будет самая подходящая!

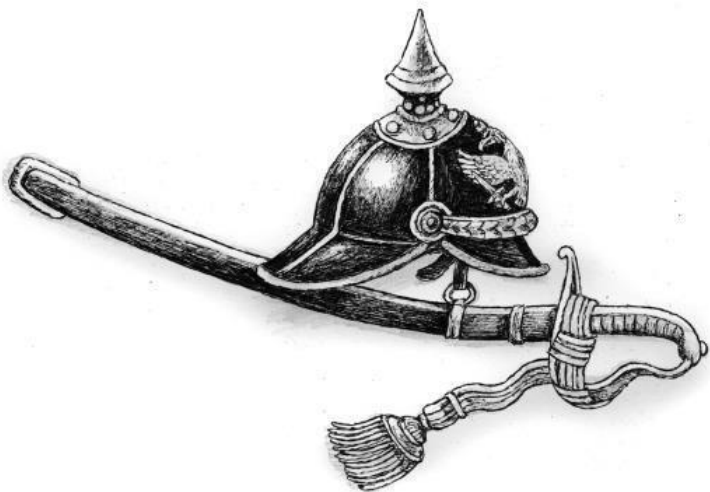
Через одну из дубовых балок в потолке была перекинута веревка с петлей. Несчастливого капитана схватили, потащили... Еще момент – и веревка стянула его шею. Мужики схватились за другой конец веревки и остановились, ожидая дальнейших приказаний. Офицер, бледный, но спокойный, скрестил на груди руки и возвышающе взглянул на своего истязателя.

– Вы теперь лицом к лицу со смертью, капитан, – произнес граф, – губы ваши шевелятся, я догадываюсь, что вы молитесь. Мой сын тоже молился, приготавливаясь к смерти. Но совершенно случайно на место происшествия прибыл командир полка. Он услышал, как мой мальчик молится за свою мать, и это его тронуло... он был сам отец... Генерал приказал уланам удалиться и остался с осужденными на смерть один, вместе со своим адъютантом. Узнав от моего мальчика все – и то, что он единственный сын старинной фамилии, и то, что его мать больна, – он снял с его шеи веревку... Я

также снимаю веревку с вашей шеи. Затем он поцеловал его в обе щеки... Я также вас целую... А затем генерал отпустил моего сына и его товарища на все четыре стороны... и я вас также отпускаю. Желаю вам также всех тех благ, которых пожелал для моего сына этот благородный генерал... К сожалению, эти пожелания не спасли моего сына от злокачественной лихорадки, которая унесла его в могилу.

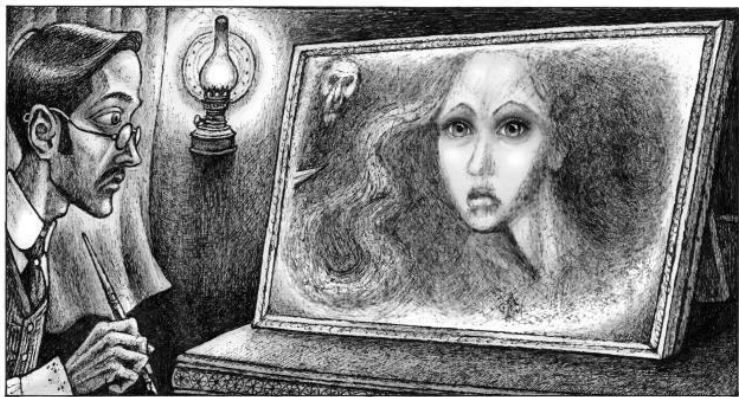
Таким-то образом вышел из Черного замка на слякоть и дождь в одно холодное декабрьское утро окровавленный и с обезображенным лицом капитан Баумгартен.

Перевод Н. Облеухова, 1894



Артур Конан Дойл

Серебряное зеркало



3-го января

Дело Уайта и Везерпуна представляет из себя гигантскую задачу. Приходится проверять массу счетов и проглядывать и подсчитывать двадцать толстых счетных книг. Невесело быть младшим партнером! Однако это первое большое дело, предоставленное мне целиком, и нужно оправдать оказанное доверие. Но дело необходимо окончить так, чтобы адвокаты узнали результат вовремя, к началу следствия. Сегодня утром Джонсон сказал, что я должен представить отчет

до 20-го числа этого месяца. Боже милостивый! Если только выдержат нервы и мозг, то я добьюсь этого. Ведь работать придется в конторе от десяти до пяти и потом с восьми до часа ночи. И в жизни счетовода есть своя драматическая сторона. Когда поздно ночью, в то время как все спят, я охочусь за теми недостающими цифрами, которые должны превратить почтенного олдермена в мошенника, я понимаю, что моя профессия не совсем прозаическая.

В понедельник я напал на первый след мошенничества. Самый ярый охотник вряд ли испытывает такую дрожь восторга в ту минуту, когда нападает на первый след преследуемой им добычи. Но при этом я взглянул на двадцать счетных книг, подумал о дебрях, по которым мне придется пробираться, прежде чем можно будет убить дичь. Трудная работа, но и интересная; в своем роде спорт. Я видел как-то этого толстяка на обеде в Сити, его красное лицо блестело над белой салфеткой. Он взглянул мельком на бледного человека на краю стола. Как бы он сам побледнел, если бы предвидел, какая обязанность будет возложена на меня.

6-го января

Что за бессмыслица со стороны докторов предписывать отдых, когда об отдыхе не может быть и речи! Ослы! С одинаковым успехом они могли бы кричать о полном покое человеку, за которым гонится стая волков. Мой отчет должен быть готов к известному числу, не то я потеряю единствен-

ный шанс в моей жизни, – какой же тут может быть отдых! После суда я отдохну неделю-другую.

Может быть, я сам сделал глупость, что пошел к доктору. Но по ночам, за работой, я становлюсь нервен и возбужден. Голова у меня не болит, но словно чем-то налита, а перед глазами по временам туман. Я думал, что какой-нибудь препарат брома, хлорала или чего-нибудь в этом роде может помочь мне. Но бросить работу! Какое нелепое требование! Ведь у меня такое чувство, будто я состязаюсь в беге на дальнюю дистанцию. Сначала чувствуешь себя странно: и сердце бьется, и дыхания не хватает, – но стоит только не потерять смелости, и все пойдет на лад. Я не брошу работы и буду ждать, пока все наладится. А если и не удастся, то дела я все же не брошу. Я уже проверил две книги и просматриваю третью. Мошенник искусно замел следы, но я все же нахожу их.

9-го января

Я не хотел идти еще раз к доктору, а пришлось. «Напрягая нервы, рискую полным упадком сил, – опасность может грозить даже рассудку». Славный приговор, выпаленный сразу. Ну и что же – буду напрягать нервы, буду рисковать, но пока в состоянии сидеть на стуле и водить пером, буду отслеживать старого грешника.

Между прочим, нужно записать странный случай, заставивший меня во второй раз пойти к доктору. Я тщательно опишу все мои ощущения и симптомы, во-первых потому,

что они интересны сами по себе – «любопытное психофизиологическое явление», говорит доктор, – а во-вторых потому, что убежден, что когда эти явления пройдут, то будут казаться неясными и нереальными, чем-то вроде странного видения в полусне. Поэтому я запишу их, пока они свежи у меня в памяти, хотя бы ради отвлечения мысли от бесконечных цифр.

В моей комнате есть старинное зеркало в серебряной оправе, подаренное мне одним моим приятелем, любителем древностей. Насколько я знаю, он купил его на каком-то аукционе, не имея понятия, откуда оно взялось. Зеркало это имеет три фута в длину и два фута в высоту и прислонено к столику, стоящему слева от того стола, на котором я пишу. Рамка плоская, около двух дюймов в ширину, и очень старинная – слишком старинная для того, чтобы иметь клеймо или какие-нибудь другие признаки, указывающие на время ее происхождения. Само стекло очень ровное и гладкое и обладает той великолепной способностью отражения, которая свойственна, по моему мнению, только очень старинным зеркалам. В них чувствуется такая перспектива, какой незаметно в нынешних зеркалах.

Зеркало стоит так, что с моего места я могу видеть в нем только отражение красных занавесей окна. Но вчера ночью произошло нечто странное. Я работал в продолжение нескольких часов, очень неохотно; часто перед глазами у меня вставал туман. Мне приходилось бросать работу и проти-

рать глаза. В одну из таких минут я случайно взглянул в зеркало и увидел странное зрелище. В зеркале не отражались, как всегда, красные занавеси; стекло казалось затуманенным и запотевшим – не на поверхности, блестящей, как сталь, но в самой глубине. Когда я стал пристально вглядываться, то заметил, что эта непроницаемая масса, казалось, медленно вращалась то в одну, то в другую сторону, пока не появилось густое белое облако, свивавшееся большими клубами. Все это казалось настолько реальным, а я настолько владел рассудком, что помню, как обернулся посмотреть, не горят ли занавеси. Но в комнате царила мертвая тишина; не было слышно ничего, кроме тиканья часов, не заметно никакого движения, за исключением медленного вращения странного волокнистого облака в самом сердце старинного зеркала.

Когда я взглянул опять, туман, или дым, или облако – назовите это как хотите, – казалось, собрался и уплотнился в двух точках и, скорее с чувством интереса, чем страха, я убедился, что это были два глаза, смотревшие в комнату. Увидел я и слабые очертания головы – судя по волосам, головы женщины, но очень неясные. Ясно видны были только глаза; какие глаза – темные, блестящие, полные какого-то страшного чувства, ярости или ужаса – я не мог решить. Никогда не приходилось мне видеть глаз, полных такой интенсивной жизни. Они не были устремлены на меня, но пристально смотрели в комнату. Я выпрямился, провел рукой по лбу и сделал напряженное, сознательное усилие, чтобы овладеть

собой. Неясные очертания головы исчезли в общей непро- ницаемой глубине, зеркало медленно прояснилось, и в нем снова показались красные занавеси.

Люди скептического склада ума, наверное, скажут, что я заснул над цифрами и видел все это во сне. Но никогда в жизни я не чувствовал себя настолько бодрствующим.

Даже в то время как я смотрел в зеркало, я доказывал себе, что это субъективное впечатление – химера, вызванная расстройством нервов вследствие усталости и бессонницы. Но почему расстройство вылилось в такую особенную форму? И кто эта женщина, что значит страшное волнение, которое я прочел в ее удивительных карих глазах? Эти глаза стоят между мной и моей работой. В первый раз я сделал менее назначенного мною урока. Поэтому, может быть, сегодня вечером я и не испытывал никаких ненормальных явлений. Завтра надо встряхнуться во что бы то ни стало.

11-го января

Все хорошо, и работа идет успешно. Петля за петлей я обвиваю сетью тучное тело виновного. Но все же победа может остаться на его стороне, если мои нервы не выдержат. Зеркало служит словно барометром утомления моего мозга. Каждый вечер, прежде чем я кончу работу, я вижу, как оно заволакивается.

Доктор Синклер (по-видимому, он занимается психологическими вопросами) так заинтересовался моим рассказом,

что пришел сегодня вечером посмотреть зеркало. Я заметил на задней стороне его несколько слов, написанных старинными крючковатыми буквами. Доктор принялся рассматривать надпись в лупу, но не мог ничего понять. “Sanc. X. Pal” – вот все, что он разобрал, а это, конечно, не подвинуло дела. Синклер посоветовал мне поставить зеркало в другую комнату; но что бы я ни видел там, это, по его словам, только симптом болезни, а опасность лежит в причине ее. Нужно убрать, если возможно, эти двадцать счетных книг, а не зеркало. Я настолько успел в своем деле, что проверяю уже восьмую книгу.

13-го января

Пожалуй, было бы умнее, если бы я спрятал зеркало. Вчера ночью произошло необыкновенное событие. Но все это так интересно, так завлекательно, что я все-таки оставляю зеркало на месте. Что бы могло это значить?

Я думаю, было около часа ночи; я захлопнул книгу, собираясь лечь в постель, как вдруг увидел ее перед собой. Должно быть, я не заметил, как закончился период тумана; во всяком случае, теперь она обрисовалась передо мной во всей своей красе, страсти и отчаянии так ясно, словно я видел ее во плоти. Ее фигурка видна очень отчетливо – так отчетливо, что каждая черта ее лица, каждая подробность ее костюма запечатлелись в моей памяти. Она сидит в зеркале в крайнем углу, налево. У ног ее лежит какая-то туманная

фигура — я едва мог различить, что это фигура мужчины; а за ними — облако, в котором я вижу фигуры — движущиеся фигуры. Я вижу не картину. Передо мной сцена из жизни, действительный эпизод. Она наклоняется и дрожит. Мужчина припадает к ее ногам. Неясные фигуры делают порывистые движения и жесты. Все мои страхи поглощаются возбужденным во мне интересом.

Но, по крайней мере, женщину я могу описать в малейших подробностях. Она очень красива и молода, ей не более двадцати пяти лет, насколько я могу судить. Волосы ее чудного темно-каштанового оттенка, переходящего на концах в золотой. Маленький чепчик спускается на лоб углом; он из кружев и обшит жемчугом. Лоб высок, может быть, слишком высок для совершенной красоты; но вряд ли можно пожалеть об этом, так как он придает величие и силу слишком нежному, женственному лицу. Брови над тяжелыми веками изогнуты необыкновенно изящно, а затем эти удивительные глаза — такие большие, темные, полные безграничного волнения, ярости, ужаса, борющихся с гордым самообладанием, удерживающим ее от полного безумия! Щеки ее бледны, губы белы от муки, подбородок и шея округлены изящно. Она сидит в кресле, подавшись вперед, вся напряженная, словно застывшая от ужаса. На ней платье из черного бархата, на груди горит, словно пламя, какой-то драгоценный камень, золотое распятие выглядывает из складок платья. Такова женщина, образ которой еще живет в старинном сереб-

ряном зеркале. Какое ужасное событие оставило в нем такой след, что и теперь, в другом веке, человек, находящийся в подходящем настроении, может отзываться на него?

Еще одна подробность: внизу с левой стороны черного платья я увидел нечто, показавшееся мне бесформенной массой белых лент. Когда я вгляделся пристальнее или, может быть, когда видение стало определеннее, я увидел, что это было. То была человеческая рука, конвульсивно сжатая и ухватившаяся в агонии за складку платья. Остальные части фигуры представляли собой только неясные очертания, но эта напряженная рука ясно выделялась на темном фоне; ее отчаянный жест указывает на какую-то зловещую трагедию. Человек этот испуган... страшно испуган. Это легко было заметить. Что так испугало его? Зачем он ухватился за платье этой женщины? Ответ должны датьдвигающиеся на заднем плане фигуры. Они угрожают опасностью и ему, и ей. Интерес мой все возрастал, и все мое внимание было приковано к зеркалу. Я уже не думал о вредном влиянии на мои нервы и смотрел, не отрываясь, как на сцену в театре. Но я не мог узнать ничего больше. Туман стал рассеиваться. Все фигуры приняли участие в его бурных движениях. Потом зеркало снова стало ясным.

Доктор говорит, что я должен бросить работу на один день. Я согласен сделать это, так как работа у меня сильно продвинулась. Очевидно, видения вполне зависят от моего нервного состояния; сегодня вечером я, например, просидел

перед зеркалом целый час без всякого результата. День отдыха прогнал всякие видения. Хотелось бы мне знать, удастся ли мне проникнуть в их значение? Сегодня вечером я разглядывал зеркало при сильном освещении и, кроме таинственных слов “Sanc. X. Pal”, я заметил еще какие-то знаки, может быть, геральдические, еле заметные на серебре. Должно быть, эти знаки очень старинные, так как они почти совсем стерлись. Насколько я мог разобрать, это три острия копья, два наверху и одно снизу. Завтра я покажу их доктору.

14-го января

Чувствую себя отлично и решил, что теперь ничто не должно мешать мне окончить мою работу. Я показал доктору знаки на зеркале, и он согласился со мной, что они геральдические. Он очень заинтересован всем, что я рассказал ему, и подробно расспрашивал обо всех деталях. Мне забавно видеть, как его обуревают два противоположных желания – одно, чтобы пациент излечился от симптомов его болезни, другое, чтобы медиум – каким он считает меня – разрешил эту тайну прошлого. Он советует мне отдохнуть основательно, но не слишком сильно восстал, когда я объявил ему, что это невозможно, пока я не проверю остальные десять книг.

17-го января

Вот уже три ночи со мной не случилось ничего особенного. День отдыха принес свои плоды. Остается непроверенной

только четвертая часть книг; но приходится работать усиленно, так как адвокаты требуют материала. Я дал им достаточно материала. Я уличу его на ста счетах. Когда они поймут, что это за изворотливый, хитрый мошенник, это дело доставит мне прочное положение. Фальшивые торговые отчеты, фальшивые балансы, дивиденды, взимаемые из капитала, убытки, записанные как приход, прекращение расходов на работу, манипуляции с мелкими деньгами – чудесный выйдет протокол!

18-го января

Головные боли, нервные подергивания, туман перед глазами, тяжесть в висках – все предвещало нервное возбуждение, и оно наступило.

Но все же мое главное огорчение не в том, что у меня снова были видения, а в том, что они окончились раньше, чем я успел разглядеть все.

Но на этот раз я видел больше. Я мог рассмотреть человека на коленях так же хорошо, как и женщину, за платье которой он ухватился. Это маленький смуглый человек с черной остроконечной бородкой. На нем просторная одежда из камчатной материи, обшитой мехом. Преобладающий цвет его платья – красный. Однако как он перепуган! Он извивается, дрожит и бросает яростные взгляды через плечо. В другой руке у него маленький нож, но он слишком дрожит и слишком трусит, чтобы воспользоваться им. Я смутно на-

чинаю различать фигуры на заднем плане. Свирепые, боро-
датые, смуглые лица вырисовываются среди тумана. Я вижу
ужасное существо, скелет человека с провалившимися ще-
ками и впалыми глазами. У него также нож в руке. Справа
от женщины стоит высокий, очень молодой человек с бело-
куроыми волосами, угрюмым и суровым лицом. Прекрасная
женщина, как и человек у ее ног, смотрит на него также с
мольбою. Этот юноша кажется вершителем их судьбы. Чело-
век на коленях подползает и прячется в складках платья жен-
щины. Высокий юноша наклоняется и пытается оттащить ее
от него... Вот что я видел вчера, прежде чем зеркало про-
яснилось. Неужели я никогда не узнаю, к чему привело все
это и откуда появилось это видение? Я вполне уверен, что
это не простая игра воображения. Когда-нибудь, где-нибудь
разыгралась эта сцена, и старинное зеркало отразило ее. Но
когда... где?..

20-го января

Моя работа идет к концу. И пора. Я чувствую такое напря-
женное состояние мозга, которое предупреждает меня, что
мне не вынести дольше. Я заработался до последней край-
ности. Но сегодня последняя ночь. Я употреблю все уси-
лия, проверю последнюю книгу и не встану со стула, пока не
окончу дела. Я сделаю это. Сделаю.

7-го февраля

Я сделал. Боже мой, что я испытал! Не знаю, хватит ли у меня сил записать все.

Прежде всего я должен объяснить, что пишу в частной лечебнице доктора Синклера, спустя три недели после моей последней заметки в дневнике. В ночь на 20-е января моя нервная система окончательно не выдержала, и я ничего не помню больше до тех пор, пока не очутился через три дня в здешнем мирном убежище. Теперь я могу отдыхать со спокойной совестью. Работа моя была окончена прежде, чем я потерял силы. Цифры в руках адвоката. Охота закончена.

Теперь следует описать последнюю ночь. Я поклялся окончить мою работу и занимался так усердно, несмотря на то что голова у меня словно хотела лопнуть, что не отрывался от работы, пока не проверил последнего столбца. И много мне было нужно самообладания, так как я знал, что в зеркале все время происходили удивительные вещи. Каждый нерв во мне говорил это. Взгляни я туда раз – и конец моей работе. Поэтому я не смотрел в зеркало, пока не окончил всего. Когда я наконец бросил перо и с бьющимися висками поднял глаза, какое зрелище предстало передо мной!

Зеркало в своей серебряной оправе казалось блестяще освещенной сценой, на которой происходило драматическое представление. Тумана не было. Напряжение моих нервов вызвало удивительную ясность. Каждая черта лица, каждое движение было отчетливо, как сама жизнь. Только подумать, что мне, усталому счетоводу, самому прозаичному существу

на свете, с лежащими передо мной счетными книгами мошенника-банкрота, суждено было изо всего человечества видеть подобную сцену.

Сцена, как и действующие лица, была та же, но драматическое действие развилось. Высокий молодой человек держал женщину. Она вырывалась и с выражением отвращения, подняв голову, смотрела на него. Человека, стоявшего на коленях и ухватившегося за складки платья, оторвали от нее. Его окружало с дюжину людей – грубых, бородатых. Они устремились на него с ножами в руках. Казалось, все сразу ударили его. Их руки подымались и опадали. Кровь не текла из его тела – она била фонтаном. Его красное платье было промочено кровью. Он бросался во все стороны. Они продолжали наносить удары, и брызги крови взлетали из его тела. Это было ужасно, ужасно! Они потащили его по полу, продолжая наносить удары. Женщина взглянула на него через плечо, и рот ее открылся. Я ничего не слышал, но знал, что она закричала. Потом – от ужасной ли картины, подействовавшей на мои нервы, или от переутомления после непосильной работы последних недель, – но комната внезапно заплясала вокруг меня, пол словно исчез из-под моих ног, и я больше ничего не помню. Ранним утром хозяйка нашла меня без чувств перед серебряным зеркалом, но я ничего не помнил, пока не очнулся через три дня в мирном покое лечебницы.

9-го февраля

Только сегодня я рассказал доктору все, что мне пришлось испытать. Раньше он не позволял мне говорить об этом. Он слушал меня с живейшим интересом.

– Не припоминается ли вам при этом какая-нибудь сцена из истории? – спросил он, и подозрение мелькнуло у него в глазах.

Я уверил его, что не помню ничего подобного в истории.

– Вы не знаете, откуда это зеркало и кому оно принадлежало? – продолжал он.

– А вы знаете? – спросил я, заметив, что он говорит многозначительно.

– Это невероятно, – сказал он, – но как же объяснить иначе? Рассказанные вами сцены уже навели меня на эту мысль, а теперь не может быть и речи о совпадении. Я принесу вам сегодня вечером несколько заметок.

Позже

Он только что ушел. Запишу его слова насколько возможно точно. Прежде всего он положил передо мной несколько заплесневелых книг.

– Вы можете прочитать их на свободе, – сказал он. – Тут я сделал несколько заметок, которые вы можете подтвердить. Нет ни малейшего сомнения в том, что виденное вами – убийство Риччио шотландскими дворянами в присутствии шотландской Марии, произошедшее в марте 1566 года. Ва-

ше описание женщины в зеркале совершенно верно. Высокий лоб и тяжелые веки в соединении с выдающейся красотой едва ли можно встретить у двух женщин. Высокий молодой человек – ее муж, Дарнлей. Риччио, как говорит хроника, «был одет в просторную одежду из камчатной материи, опушенной мехом, и в бархатные штаны рыжевато-бурого цвета». Одной рукой он цеплялся за платье Марии, в другой держал кинжал. Ваш свирепый человек со впалыми глазами был Рутвэнь, только что вставший с одра болезни. Все подробности точны.

– Но почему же это видел именно я? – с изумлением спросил я. – Почему именно я изо всех людей?

– Потому что вы были в подходящем состоянии ума для получения данного впечатления. Потому что вы случайно владеете зеркалом, которое может вызвать это впечатление.

– Зеркало! Так вы думаете, что зеркало королевы Марии... что оно стояло в комнате, где произошло это событие?

– Я уверен, что это зеркало Марии. Она была ведь королевой Франции. На ее личной собственности должен быть королевский герб. То, что вы приняли за три острия копья, в действительности французские лилии.

– А надпись?

– “Sanc. X. Pal”. Можно расшифровать ее “Sanctae Crucis Palatium”. Кто-то отметил на зеркале, откуда оно получено. Из «Дворца “Воздвижение Честного Креста”».

– Из Голируда?⁴

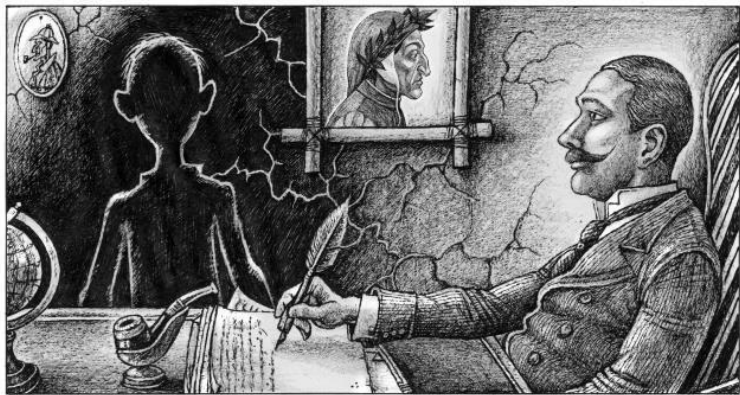
– Вот именно. Ваше зеркало из Голируда... Да, многое пришлось вам пережить, и вы остались невредимы. Надеюсь, что вам не придется в другой раз испытать что-нибудь в этом роде.

Перевод Д. П. Ефимова, 1904

⁴ Голируд – дворец, где произошло описанное событие.

Артур Конан Дойл

Страннее вымысла



Оглядываясь назад, на собственную жизнь, в поисках необычайного и странного, вы чаще всего находите это необычайное отнюдь не в материальных фактах жизни. Мне, например, посчастливилось прожить жизнь довольно бурную, полную приключений, и посетить страны, далеко не всем знакомые, при интереснейших условиях. Я был свидетелем двух войн. Профессия моя – самая драматическая в мире. Я исколесил весь свет от Новой Гренландии и Шпицбергена до Западной Африки и могу вызвать в памяти нема-

ло бурь, опасностей, китов, акул, медведей, змей – словом, всего, что живо интересовало меня, когда я был школьником. И, однако же, все, что я мог бы сказать по поводу всего этого, уже сказано до меня другими, с большим знанием дела и авторитетностью. А вот когда вы приглядываетесь к внутренней работе своего ума и духа, к причудливым интуициям, странным случайностям, к тому необычайному, что иной раз неожиданно выглянет на поверхность, озадачит и скроется неразъясненным, к невероятным совпадениям, к жизненным столкновениям, которые, казалось, должны бы были кончиться определенным образом, а кончаются совсем иначе или же вовсе не кончаются и тонут в пропасти забвения, оставляя за собой обрывки тайны вместо чистенького, гладкого узла, который так прекрасно умеют развязать в конце опытные романисты, – вот это все, скажу я вам, поистине странней и интересней всякой выдумки.

Самые замечательные переживания человека – те, которые он прочувствовал всего полней и глубже, т. е. именно те, о которых он меньше всего склонен рассказывать. Все действительно серьезные мои переживания, врезавшиеся глубоко в мою душу и оставившие в ней неизгладимый след, таковы, что я никогда бы не решился ни с кем заговорить о них. И, однако ж, как раз в этих интимных и глубоких переживаниях вы ощущаете присутствие, воздействие на вас каких-то странных сил, притяжения и отталкивания, импульсы и указания, неведомо откуда идущие – как мне думается, из

глубинного естества жизни. Лично я всегда сознавал наличность скрытых сил человеческого духа и непосредственное вмешательство в человеческую жизнь внешних сил, влияющих на наши действия, управляющих нашими поступками. Обыкновенно это влияние неуловимо – и определить, в чем именно оно сказалось, трудно, но бывают случаи, когда оно проявляется так резко, что не заметить его невозможно.

Приведу нагляднейший пример. В 1892 году я путешествовал по Швейцарии, и мне случилось проезжать через проход Гемми. На вершине его стоит одинокая гостиница и смотрит вниз на густонаселенные долины, раскинувшиеся с обеих сторон; однако же к самой гостинице зимой совсем нет доступа.

Я предположил, что зимой в ней никто не живет, но оказалось, что это не так. Семейство, жившее в ней, запасалось провизией на несколько месяцев и в течение их оставалось совершенно отрезанным от остального мира и людей внизу. Странность их положения невольно приковала мое внимание, и в голове моей уже начинал складываться рассказ, в котором изображалось отчаянное положение кучки людей, совершенно различных и даже враждебных друг другу натур, которые, будучи обречены ежеминутно сталкиваться и не имея, где укрыться друг от друга, неудержимо, силой вещей, влекутся к мрачной трагедии, в то время как внизу, в долине, весело поблескивают золотые огоньки мирной и счастливой человеческой жизни. Эти мысли упорно роились

в моем мозгу, постепенно укладываясь в стройную форму, когда, неведомо зачем и почему, я купил себе на дорогу, на обратный путь во Францию, книжку Мопассана. Это была книга рассказов, совершенно мне незнакомых. Первый из них носил заглавие «Гостиница» и заключал в себе все, что я придумал, полностью весь мой рассказ, сделанный рукой мастера. В рассказе фигурировала та же гостиница, тот же Гемми-Пас, зима, кучка людей с несовместимыми характерами – словом, все, от начала до конца. Только большой собаки, о которой там говорится, у меня в рассказе не было. Остальное было все, как я задумал, и если б не счастливый случай, я, несомненно, написал и напечатал бы его, как свой собственный. Но была ли это случайность? Могло ли это быть случайностью? Мопассан ехал той же дорогой, и живая фантазия его нарисовала ему возможности, связанные с жизнью нескольких человек в отрезанной от всего мира гостинице. Это весьма возможно. Но то, что я именно в промежутке между обдумыванием рассказа и тем, как написать его, купил именно ту, единственную в мире книгу, которая помешала мне попасть в глупейшее положение, – было ли это совпадением или же результатом какого-то доброго влияния извне, пожелавшего избавить меня от такой неприятности? Совпадение или указание – не знаю, но это была одна из тех случайностей, которые страннее вымысла.

И, однако ж, я готов признать, что и без всякого внешнего воздействия, если только не видеть в этом проказы како-

го-нибудь шаловливого и коварного Пука, в жизни случаются необычайнейшие совпадения, которых романист, конечно, никогда бы не осмелился придумать. Взять хоть бы следующий случай.

После того как я написал в разное время несколько сыщицких рассказов, многие простодушные люди начали отождествлять меня с моим героем и в трудных случаях жизни призывать меня на помощь. Нередко меня просили разобратся в каком-нибудь темном, путаном деле, предоставляя мне полную свободу действий и расходов. И не без самодовольства могу сказать, что из полдюжины дел, за которые я из жалости или любопытства ради взялся, мне всегда удавалось добиться разгадки. Вот как раз в одном из этих случаев я стал жертвой необычайного совпадения. Было совершено преступление. Подозрения мои пали на некую семью – ну, назовем ее Уайльдер, – которая если и не принимала непосредственного участия в преступлении, то, во всяком случае, много знала о нем – так мне казалось.

Мне было известно, что один из членов этой семьи несколько лет тому назад переселился в Калифорнию. Звали его Джоном, и по профессии он был архитектор. Как только я занялся этим делом, из небольшого городка в Калифорнии, который я назову Сент-Энн, я начал получать письма и бумаги, относящиеся к проводимому мной следствию, исписанные на полях самыми грубыми ругательствами и непристойнейшими богохульствами. Письма были без подписи, но

одно из них — со штемпелем города, откуда оно было послано, и адресом отправителя. Я тотчас же написал начальнику полиции этого города, прося его сообщить мне, не живет ли на такой-то улице и в таком-то доме Джон Уайльдер, архитектор, недавно выселившийся из Англии. Мне ответили: живет. Вы понимаете, конечно, что после этого я уж не сомневался и довел о результатах моего расследования до сведения британской полиции. Поверите ли вы, что через несколько недель мне дали знать, что полиция навела справки и убедилась, что сказанный Джон Уайльдер — не тот, которого я разыскиваю.

Дурацкие же письма с руганью мне посылал известный всему городу маньяк, страдающий религиозным помешательством и живущий в том же доме. Человек этот был прирожденный американец и ничего общего с преступлением иметь не мог, но я до сих пор не понимаю, чего ради он мог заинтересоваться этим делом, если только возле него не было англичан, посвятивших его в подробности дела. Как бы то ни было, против официальной бумаги я уж ничего возразить не мог и должен был признать себя жертвой совпадения, к которому в своих рассказах я, разумеется, не осмелился бы прибегнуть.

Самое странное, однако ж, происходит в той сумеречной стране, где встречаются дух и материя. Помню, однажды в Риме мы с женой шли по Пинчио. Жена раньше никогда не бывала здесь и даже не читала описания Пинчио, так как это

было в первый день нашего приезда в Рим. Неожиданно она как-то рассеянно выговорила: «Здесь есть памятник Данте». И несколько секунд спустя мы увидали этот памятник, до того скрытый кустами.

«Почему ты знала?» – спросил я. Она ответила: «Понятия не имею. Просто знала». До чего просто, и случай-то пустячный, и пусть-ка кто из ученых попробует дать объяснение.

Я лет тридцать изучал оккультные науки, и мне так странно слушать уверенные суждения об этом, по большей части отрицательные, от людей, которые и минуты серьезно не задумывались над этими вещами. Здесь не время и не место высказывать мои воззрения на это; я только хочу привести два-три факта несколько иного рода, чем обычные «явления», наблюдаемые на сеансах и которые также показались бы невероятными, если б о них рассказать в романе. В одном случае я, по-видимому, соприкоснулся с чем-то действительно необычайным, если только я не был введен в заблуждение обманом с одной стороны и совпадением с другой.

Жил я тогда в деревне и свел знакомство с местным доктором, моим соседом. Доктор был маленького роста, и практика у него была маленькая, но меня заинтересовало, что в доме у него была комната, куда он никому, кроме себя, не позволял входить и где он предавался философскому и мистическому созерцанию. Заметив, что меня интересуют эти темы, д-р Броун, как я назову его, однажды предложил мне

присоединиться к тайному обществу изучающих оккультные науки. Разговор между нами вышел такой:

– Что же это может дать мне?

– Со временем это даст вам силу.

– Какую силу?

– Силу, которую профаны называют сверхъестественной. Она вполне естественна, но дается лишь тому, кто глубже проник в тайны природы.

– Но если эта сила добрая, почему же ее надо таить от других?

– Потому что дурной человек легко может злоупотребить ею.

– Но как же вы можете быть уверены, что она не попадет в дурные руки?

– Мы очень тщательно экзаменуем наших посвященных.

– И меня будете экзаменовать?

– Конечно.

– Кто же именно?

– Эти люди живут в Лондоне.

– Значит, я должен буду туда поехать?

– Нет-нет, это будет сделано так, что вы и знать не будете.

– А затем?

– А затем вы приступите к изучению.

– К изучению чего?

– Многое вам придется заучивать наизусть. С этого вы и начнете.

– Но если материал, который я буду заучивать, печатный, почему же не сделать его общим достоянием?

– Он не печатный. Он дается в рукописи. Каждый список пронумерован и дается посвященному под честным словом никому не показывать его. Еще не было случая, чтобы список этот потерялся или попал в руки непосвященных.

– Ладно, – сказал я. – Все это очень интересно. Можете проэкзаменовать меня, или как там это у вас называется.

Несколько времени спустя – так, через неделю или около того – я проснулся чуть свет от очень странного ощущения. Это был не кошмар и не сон, так как ощущение продолжалось и в течение дня. Оно не было болезненным, но было совсем особенным и неприятным – что-то вроде зуда во всем теле, как от прохождения электрического тока. Мне сейчас же вспомнился маленький доктор.

Через несколько дней он сам явился ко мне.

– Ну, – молвил он с улыбкой, – вы экзамен выдержали. Теперь решайте сами, и уж окончательно, хотите ли вы продолжать. Потому что это – не такая вещь, которую можно начать и бросить. Это дело серьезное, и надо или не браться за него, или уж предаться ему всей душой.

Я и сам начинал понимать, что это дело серьезное, – настолько серьезное, что для него, пожалуй, и не найдется места в моей битком набитой всякими делами жизни. Я так и сказал ему, и он не обиделся на меня.

– Отлично! – молвил он. – Больше мы не будем говорить

об этом, если только сами вы не передумаете.

Но это еще не все. Месяца два спустя, в проливной дождь, ко мне зашел укрыться от дождя маленький доктор и привел с собой другого доктора, имя которого было мне знакомо как известного исследователя тропических стран. Я велел развести огонь в камине. Пока они обсушивались, у нас завязался разговор. Я не мог не обратить внимания на то, что знаменитый путешественник очень почтительно обращался к маленькому доктору, который к тому же был моложе его годами.

– Он один из посвященных мной, – пояснил мне этот последний. – А знаете, – повернулся он к своему спутнику, – Дойль одно время совсем было решил присоединиться к нам.

Путешественник воззрился на меня с большим интересом и завел речь со своим наставником о чудесах, которые он видел и, как я понял, сам творил. Я слушал их, разинув рот. Это был словно разговор двух сумасшедших. Особенно врезалась мне в память одна фраза:

– Когда вы в первый раз взяли меня с собой и мы пролетали над тем городом, где я когда-то жил в Центральной Африке, я в первый раз увидел острова посередине озера. Я знал, что там есть острова, но никогда не видел их – они отстоят слишком далеко от берега. Не странно ли, что я впервые увидал их, живя в Англии?

Были и другие сообщения, не менее необычайные. «Заго-

вор с целью одурачить простака», – скажет скептик. Думайте как хотите, но я убежден, что вранья тут не было. Это один из тех рассказов с оборванным концом, которых терпеть не могут издатели.

Еще один курьезный опыт, о котором стоит упомянуть. Я вызвался однажды переночевать в доме «с привидениями» в Дорсетшайре. Со мной были еще двое. Мы составляли депутацию от Общества психических исследований, в котором, к слову сказать, я состою со дня его открытия. В доме раздавались иногда необъяснимые докучливые стуки, не дававшие покоя жильцам, которые были связаны контрактом и не могли переехать на другую квартиру. Мы просидели, не ложась, две ночи. Первая прошла спокойно; на вторую мы остались вдвоем с м-ром Подмором, известным ученым: третий наш товарищ уехал. Разумеется, мы приняли все меры предосторожности против обмана, протянули шерстинки через лестницы и т. п.

Ночью поднялся страшный шум и грохот. Как будто кто-то дубасил по столу толстой палкой. Это было отнюдь не похоже на случайный треск половиц или шкафов – нет, это был настоящий, оглушительный шум.

Двери были все настежь, и мы первым делом бросились в кухню, откуда, казалось, шли звуки. Там все было в порядке – наружные двери заперты, окна тоже, шерстинки не тронуты. Подмор унес свечу, сделав вид, что мы оба ушли в гостиную; но на самом деле я остался в кухне, в надежде, что

шум возобновится. Но он не повторился. Чем он был вызван – не знаю. По рассказам жильцов, и те шумы, которые они раньше слышали, были в таком же роде...

Несколько лет спустя дом этот сгорел. Было ли тут при чем-нибудь привидение, водившееся в нем, или не было, – знаю только одно, что в саду оказался зарытым скелет ребенка лет десяти. Надо полагать, что ребенок был убит и схоронен безвременно. А уверяют, будто молодая жизнь, оборванная внезапно и насильственно, может и после смерти сохранить запас неизрасходованной силы, проявляющейся самыми странными способами. Но тут мы уже снова попадаем в область фактов, которые страннее вымысла. Неведомое и чудесное обступает нас со всех сторон. Бродит около нас, витает над нами, реет смутными образами, то мрачными, то пронизанными светом, – но всегда напоминая нам, что пределы того, что мы называем материей, ограничены и что мы не должны отвращаться от духовности, если хотим остаться в соприкосновении с истинными глубинными фактами жизни.

Перевод З. Жуковской, 1916

Александр Дюма

Тысяча и один призрак



Вместо предисловия

Мой милый друг, вы часто говорили мне в те вечера, которые стали так редки, когда каждый говорил непринужденно, высказывал свои заветные мечты, или фантазировал, или черпал что-то из воспоминаний прошлого, — вы часто говорили мне, что после Шехерезады и Подье я самый интересный рассказчик, которого вы слышали.

Сегодня вы пишете мне, что в ожидании длинного рома-

на, какой я обыкновенно пишу и который охватывает целое столетие, вы хотели бы получить от меня рассказы – два, четыре, шесть томов рассказов, этих бедных цветов из моего сада, которые вы хотели бы издать среди политических событий момента, между процессом Буржа и майскими выборами.

Увы, мой друг, мы живем в печальное время, и мои рассказы далеко не веселы. Позвольте мне только уйти из реального мира и искать вдохновения для моих рассказов в мире фантазии. Увы! Я очень опасаясь, что все те, кто умственно выше других, у кого больше поэзии и мечтаний, все идут по моим стопам, то есть стремятся к идеалу, – единственное прибежище, предоставленное нам Богом, чтобы уйти из действительности.

Вот передо мной раскрыты пятьдесят томов по истории Регентства, которую я заканчиваю, и я прошу, если вы будете упоминать о ней, не советуйте матерям давать эту книгу своим дочерям. Итак, вот чем я занят! В то время как я пишу вам, я пробегаю глазами страницу мемуаров маркиза д'Аржансона «О разговорах в былое время и теперь» и читаю там следующие слова: «Я уверен, что в то время, когда Отель де Рамбулье задавал тон обществу, умели лучше слушать и лучше рассуждать. Все старались воспитывать свой вкус и ум; я встречал еще стариков, владевших разговором при дворе, где я бывал. Они умели точно выражаться, слог их был энергичен и изящен; они употребляли антитезы и эпи-

теты, усиливавшие смысл; прибегали к глубокомыслию без педантизма и остроумию без злобы».

Сто лет прошло с тех пор, как маркиз д'Аржансон написал эти слова, которые я выписываю из его книги. В то время, когда он их писал, он был одних лет с нами, и мы, мой друг, можем сказать вместе с ним: мы знавали стариков, которые – увы! – были тем, чем мы не можем быть, людьми из хорошего общества.

Мы видели их, но сыновья наши их не увидят. Итак, хотя мы немного значим, но все же больше, чем наши сыновья.

Правда, с каждым днем мы подвигаемся к свободе, равенству и братству – к тем трем великим словам, которые революция 93-го года выпустила в современное общество, как тигра, льва или медведя, одетых в шкуры ягнят; пустые, увы, слова, которые можно было читать в дыму июня на наших общественных памятниках, пробитых пулями.

Я подражаю другим; я следую за движением. Сохрани меня Боже проповедовать застой! Застой – смерть. Я иду, как те люди, о которых Данте говорит, что хотя ноги их идут вперед, но головы оборачиваются к пяткам.

Я настойчиво ищу – и особенно жалею, что приходится искать в прошлом, – это общество; оно исчезает, оно растворяется, как одно из тех привидений, о которых я собираюсь рассказать.

Я ищу общество, которое создает изящество, галантность; оно создавало жизнь, которой стоило жить (прошу извине-

ния за это выражение, я не член Академии и могу себе это позволить). Умерло ли это общество или мы убили его?

Помню, я был еще ребенком, когда мы с отцом побывали у мадам де Монтессон. То была важная дама, дама прошлого столетия. Она вышла замуж шестьдесят лет назад за герцога Орлеанского, деда короля Луи-Филиппа. Тогда ей было восемьдесят лет. Она жила в богатом отеле на шоссе д'Антен. Наполеон выдавал ей пенсию в сто тысяч экю.

Знаете, почему давалась ей пенсия, занесенная в Красную книгу, преемником Людовика XVI? Нет? Прекрасно. Мадам де Монтессон получала пенсию в сто тысяч экю за то, что сохранила в своем салоне традиции высшего общества времен Людовика XIV и Людовика XV. Ровно половину этой суммы платит теперь Палата ее племяннику, чтобы он заставил Францию забыть то, что дядя его желал, чтобы она помнила.

Вы не поверите, мой милый друг, но вот это слово, которое я по неосторожности произнес: «Палата», опять возвращает меня к мемуарам маркиза д'Аржансона.

Почему? Сейчас узнаете.

«Жалуются, – говорит он, – что в наше время во Франции не умеют вести беседу. Я знаю причину этого. Наши современники утратили способность слушать. Слушают вполуха или совсем не слушают. Я сделал такое наблюдение в лучшем обществе, в котором мне приходилось бывать».

Ну, мой милый друг, какое же лучшее общество можно посещать в наше время? Несомненно, то, которое восемь

миллионов избирателей сочли достойным представлять интересы, мнения, дух Франции. Это Палата, конечно.

И что же? Войдите случайно в Палату в какой вздумается день и час. Держу пари сто против одного, что вы увидите на трибуне лицо, которое говорит, а на скамьях от пятисот до шестисот лиц, которые не слушают, а постоянно прерывают.

То, что я говорю, настолько верно, что в конституции 1848 года имеется даже специальная статья, которая запрещает прерывать речи.

Сосчитайте также количество пощечин и ударов шпаги, нанесенных в Палате со времени ее открытия, – бесчисленное количество!

Конечно, все во имя свободы, равенства и братства.

Итак, мой милый друг, как я вам сказал, я сожалею о многом, не правда ли? Хотя я уже прожил почти полжизни, из того, что осталось в прошлом, я вместе с маркизом д'Аржансоном, жившим сто лет тому назад, жалею об исчезновении галантности.

Однако во времена маркиза д'Аржансона никому не приходило в голову называться гражданином. Подумайте, если бы сказать маркизу д'Аржансону, когда он писал, например, следующие слова:

«Вот до чего мы дожили во Франции: занавес опустили; представление кончилось; раздаются только свистки. Скоро исчезнут в обществе изящные рассказчики, искусство, живопись, дворцы, останутся везде и повсюду одни завистни-

ки».

Что, если бы тогда ему сказать, когда он писал эти слова, что мы дойдем до того, что будем, как я, например, завидовать его времени? Как бы удивился бедный маркиз д'Аржансон! И что же я делаю? Я живу среди мертвецов — отчасти с изгнанниками. Я стараюсь воскресить несуществующие уже общества, исчезнувших людей, от которых пахло амброй, а не сигарами, которые дрались на шпагах, а не на кулаках.

И вас должно удивить, мой друг, что, когда я начинаю беседовать, я говорю на том языке, на котором теперь не говорят. Вот почему вы находите меня занимательным рассказчиком. Вот почему мой голос, эхо прошлого, еще слушают в настоящее время, когда так мало и неохотно слушают.

В конце концов мы, подобно тем венецианцам, которых в восемнадцатом столетии законы против роскоши заставляли носить сукно и грубые ткани, любим рассматривать шелк, бархат и золотую парчу, в которые королевская власть рядила наших отцов.

Ваш Александр Дюма

I. Улица Дианы в Фонтенэ

1 сентября 1831 года мой старинный приятель, начальник бюро королевских имуществ, пригласил меня в Фонтенэ для открытия с его сыном охоты.

В то время я очень любил охоту и как страстный охотник придавал большое значение тому, в какой местности каждый год ее начинать.

Обыкновенно мы отправлялись к одному фермеру, вернее, другу моего шурина; у него я впервые убил зайца и посвятил себя науке Немврода и Эльзеара Блэза. Ферма находилась между лесами Компьена и Вилье Коттере, в полумиле от прелестной деревушки Мориенваль и в миле от величественных развалин Пьерфона.

Две или три тысячи десятин земли, принадлежащие ферме, представляют собой обширную равнину, окруженную лесом; в середине расстилается красивая долина, и среди зеленых лугов и пышной листвы разнообразных деревьев виднеются дома, наполовину ею скрытые; от них поднимаются синеватые клубы дыма.

Сначала дым стелется, а затем вертикально поднимается к небу и, достигнув верхних слоев воздуха, расходится по направлению ветра наподобие верхушек пальм.

Дичь из обоих лесов спускается, как на нейтральную почву, на эту равнину и на два склона долины.

На равнине Бассдар водится всякая дичь: вдоль леса — козы и фазаны; зайцы — на площадках, кролики — в расселинах, куропатки — около фермы. Господин Моке (так звали нашего друга) нас ждал; мы охотились весь день и на другой день возвращались в Париж в два часа; четыре или пять охотников убивали до ста пятидесяти экземпляров дичи, и наш хозяин ни за что не хотел брать себе ни одного.

В этом году я изменил господину Моке, уступив просьбам моего старого сослуживца и соблазнившись пейзажем, присланным его сыном, выдающим себя учеником римской школы. Пейзаж представлял собой равнину Фонтенэ, засеянную хлебом и заросшую люцерной, изобилующую зайцами и куропатками.

Я никогда не был в Фонтенэ: никто так мало не знает окрестности Парижа, как я. Я не выезжал ближе пятисот или шестисот миль от Парижа. Всякая перемена места представляла для меня интерес.

В Фонтенэ я уезжал в шесть часов вечера, высунув голову в окно, по своему обыкновению; я проехал заставу Анфер, оставил слева улицу Том-Иссуар и поехал по Орлеанской дороге.

Известно, что Иссуар — знаменитый разбойник, который во времена Юлиана брал выкуп с путешественников, отправлявшихся в Лутецию. Его, кажется, повесили и похоронили в том месте, которое названо его именем.

Равнина около Малого Монружа имеет очень странный

вид. Среди обработанных полей, среди грядок морковки и свеклы возвышаются каменоломни белого камня, а над ними зубчатое колесо. По окружности колеса находятся деревянные перекладыны, и человек попеременно опирается на них ногой. Это – работа белки: рабочий, по-видимому, затрачивает немалые усилия, а в действительности не трогается с места; на вал колеса намотана веревка, и этим движением она разматывается и вытаскивает на поверхность камень, высеченный в каменоломне.

Крюк вытаскивает камень из каменоломни и перекачивает его на назначенное место. Канат спускается вглубь и снова тащит камень и дает передышку этому современному Ик-сиону. Затем его предупреждают, что снова камень ждет его усилий, чтобы покинуть родную каменоломню, и вновь все повторяется.

До вечера человек проходит десять миль, не меняя места; если бы при каждом шаге, который он совершил по перекладине, он поднимался вверх, то через двадцать три года он достиг бы Луны.

В то время, когда я проезжал по равнине, отделявшей Малый Монруж от Большого, особенно вечером, окрестный пейзаж с этими бесконечными двигающимися колесами на фоне багряного заката солнца казался фантастическим. Пейзаж напоминал гравюру Гойи, где люди в полумраке вырывают зубы у повешенных.

Эти каменоломни в пятьдесят и шестьдесят футов длины

и в шесть или восемь высоты – это будущий Париж, который выкапывают из земли. Каменоломни эти расширяются и увеличиваются день ото дня. Это как бы продолжение катакомб, из которых вырос старый Париж. Это – предместья подземного города; они все расширяются и увеличиваются в окружности. Когда вы идете по равнине Монруж, вы идете над пропастями. Местами образуется провал, миниатюрная долина, складка почвы – это плохая каменоломня под вами: треснул ее гипсовый потолок, который был над трещиной, вода протекла в пещеру, просочилась в почву, произошли подвижки почвы – оползни.

Если вы не осведомлены, что этот красивый зеленый пласт земли ни на чем не держится, и если вы станете на это место над провалом, то можете провалиться, как в Монтанвере между двумя ледяными горами.

Обитатели подземных галерей отличаются характером и физиономией и ведут особый образ жизни. Они живут в потемках, у них инстинкты ночных животных, они молчаливы и жестоки. Часто бывают несчастные случаи: то спица обломается, то веревка оборвется и задавят человека. На поверхности земли считают это несчастным случаем, но на тридцатифутовой глубине знают, что это преступление.

Во время восстания люди, о которых мы говорим, почти всегда принимают в нем участие.

У заставы Анфер говорят: «Вот идут каменотесы из Монружа!» – и жители соседних улиц качают головой и запира-

ют двери.

Вот на что я смотрел, вот что я видел в сентябрьские сумерки, в промежутке между днем и ночью. Очевидно, никто из моих спутников не видел того, что видел я. И во всем так: многие смотрят, да мало кто видит.

В Фонтенэ мы приехали в половине девятого. Нас ждал прекрасный ужин, а после ужина – прогулка по саду.

Если Сорренто – царство апельсиновых деревьев, то Фонтенэ – царство роз. В каждом доме по стене выются розы. Достигая известной высоты, розы распускаются гигантским веером, наполняя воздух благоуханиями, а когда поднимается ветер, сверху падает дождь розовых лепестков, как падал он в праздник, который устраивал сам Бог.

Дойдя до конца сада, можно было полюбоваться величественным пейзажем, если бы это было днем. Огоньки обозначали деревни Ссо, Банье, Шатильон и Монруж; вдали тянулась красноватая линия, откуда исходил шум, напоминавший дыхание Левиафана, – то было дыхание Парижа.

Нас насильно отправили спать, словно детей, хотя мы с удовольствием дождались бы зари под звездным небом, вдыхая благоухания, доносимые ветром.

Охота началась в пять часов утра. Руководил ею сын хозяина; он сулил нам чудеса и, надо признаться, расхваливал обилие дичи в этой местности с необыкновенной настойчивостью.

В двенадцать часов мы увидели зайца и четырех куропа-

ток. Мой товарищ справа промахнулся, стреляя в зайца, а товарищ слева промахнулся, стреляя в куропатку; из трех оставшихся я застрелил двух.

В Брассуаре к двенадцати часам я бы уже отправил на ферму четырех зайцев и штук двадцать куропаток.

Я люблю охоту и ненавижу прогулки по полям. Под предлогом, что желаю осмотреть поле люцерны, расположенное слева, я свернул.

Поле привлекло меня потому, что я сообразил: шагая по низкой дороге по направлению к Ссо, я скроюсь от охотников и дойду до Фонтенэ.

Я не ошибся. На колокольне пробило час, когда я добрался до первых домов деревни. Я шел вдоль стены, окружавшей, как мне казалось, превосходную виллу, как вдруг там, где улица Дианы пересекается с Большой, ко мне со стороны церкви направился человек странной наружности. Я остановился и, вероятно, руководствуясь инстинктом самосохранения, стал заряжать ружье.

Человек, бледный, с взъерошенными волосами, с глазами, вылезающими из орбит, в неопрятной одежде, с окровавленными руками, прошел мимо, не замечая меня. Взор его был устремлен вдаль и тускл, хриплое дыхание указывало на то, что он был охвачен ужасом.

На перекрестке он свернул с Большой улицы на улицу Дианы, туда выходила вилла, вдоль стены которой я шел уже семь или восемь минут. Дверь, на которую я внезапно взгля-

нул, была выкрашена в зеленый цвет, и на ней стоял номер «2». Рука человека протянулась к звонку раньше, чем он мог до него дотянуться; наконец он схватил звонок, сильно дернул его и сейчас же сел на ступеньки у двери. Он сидел неподвижно, опустив руки и склонив голову на грудь.

Я вернулся. Я понял: человек этот стал участником какой-то неизвестной и тяжелой драмы.

За ним и по обеим сторонам улицы стояли люди. Он производил на них такое же впечатление, как на меня, и они вышли из своих домов и смотрели на него с таким же удивлением, как и я.

На звонок вышла женщина лет сорока или сорока пяти.

– А, это вы, Жакмен, – сказала она. – Что вы здесь делаете?

– Господин мэр дома? – спросил глухим голосом человек, к которому она обращалась.

– Да.

– Ну, тетка Антуан, подите скажите ему, что я убил мою жену и явился сюда, чтобы меня арестовали.

Тетка Антуан вскрикнула, и те, кто расслышал страшное признание, вскрикнули вместе с нею.

Я сам отступил назад и, наткнувшись на ствол липы, оперся на него. Все, кто был поблизости, оставались неподвижны.

После своего рокового признания убийца как бы в изнеможении соскользнул со ступеньки на землю.

Тетка Антуан исчезла, оставив калитку открытой. Оче-

видно, она пошла передать поручение Жакмена своему хозяину.

Через пять минут появился тот, за кем она пошла.

Я и теперь вижу перед собой ту улицу.

Жакмен сполз на землю, как я уже сказал. Мэр Фонтенэ, которого позвала тетка Антуан, стоял около него, загораживая его своей высокой фигурой. У калитки топтались еще двое, о которых я еще буду говорить подробнее. Я опирался на ствол липы на Большой улице и смотрел на улицу Дианы. Налево находилась группа, состоявшая из мужчины, женщины и ребенка; последний плакал, и мать взяла его на руки. За этой группой из первого этажа высовывал голову булочник и, обращаясь к мальчику, стоявшему внизу, спрашивал его: тот, что пробежал, не Жакмен ли каменотес? Наконец на пороге появился кузнец, освещаемый сзади пламенем наковальни, на которой подмастерье продолжал раздувать мехи.

Вот что происходило на Большой улице.

На улице Дианы не было никого, кроме главной группы. Лишь в конце ее появились два жандарма, совершавшие обход по равнине в целях проверки прав на ношение оружия, и, не рассчитывая на предстоящее им дело, медленно приближались к нам.

Пробило час с четвертью.

II. Переулок Сержан

Свои первые слова мэр Ледрю произнес одновременно с последним ударом часов.

– Жакмен, – сказал он, – надеюсь, тетка Антуан сошла с ума: она передала мне по твоему поручению, что твоя жена умерла и что это ты ее убил!

– Это чистая правда, господин мэр, – отвечал Жакмен. – Меня следует отвести в тюрьму и скорее судить.

Произнеся эти слова, он попытался встать, опираясь о стульчик, но после сделанного усилия упал: у него подкосились ноги.

– Полно! Ты с ума сошел! – сказал мэр.

– Посмотрите на мои руки, – отвечал тот, поднимая окровавленные руки со скрюченными, похожими на когти пальцами.

Действительно, левая рука его была красна до кисти, правая – до локтя. Кроме того, на правой руке струйка крови текла вдоль большого пальца: вероятно, жертва в борьбе укусила своего убийцу.

В это время подъехали два жандарма. Они остановились в десяти шагах от главного действующего лица этой сцены и смотрели на него с высоты, восседая на своих лошадях.

Мэр подал им знак. Они сошли с лошадей, бросили вожжи мальчику в полицейской шапке, по-видимому, сыну кого-то

из стоявших тут же. Затем подошли к Жакмену и подняли его под руки.

Он подчинился без сопротивления и с апатией человека, ум которого сосредоточен на одной мысли.

В это время явились полицейский комиссар и доктор.

– А! Пожалуйста сюда, господин Робер! А, пожалуйста сюда, господин Кузен! – сказал мэр.

Робер был доктор, Кузен – полицейский комиссар.

– Пожалуйста, я хотел уже послать за вами.

– Ну! В чем дело? – спросил доктор с самым веселым видом. – Кажется, убийство?

Жакмен ничего не отвечал.

– Ну что, Жакмен, – продолжал доктор, – правда, что вы убили вашу жену?

Жакмен молчал.

– Он, по крайней мере, сам сознался, – сказал мэр. – Однако, может быть, это галлюцинация, и он не совершил преступления.

– Жакмен, – сказал полицейский комиссар, – отвечайте. Правда, что вы убили свою жену?

То же молчание.

– Во всяком случае, мы увидим, – сказал доктор Робер. – Вы живете в переулке Сержан?

– Да, – ответили два жандарма.

– Я не пойду туда! Я не пойду туда, – закричал Жакмен, вырываясь из рук жандармов быстрым движением, как бы

желая убежать, и убежал бы раньше, чем кто-либо вздумал его преследовать.

– Отчего вы не хотите туда идти? – спросил мэр.

– Зачем идти, я признаюсь во всем: я ее убил. Я убил ее большой шпагой с двумя лезвиями, которую взял в прошлом году в Артиллерийском музее. Мне нечего там делать, ведите меня в тюрьму!

Доктор и мэр переглянулись.

– Мой друг, – сказал полицейский комиссар, который, как и Ледрю, полагал, что Жакмен находится в состоянии временного помешательства, – вам необходимо пойти туда, чтобы направить правосудие в надлежащее русло.

– А зачем направлять правосудие? – отвечал Жакмен. – Вы найдете тело в погребке, а около тела, в мешке от гипса, голову, а меня отведете в тюрьму.

– Вы должны пойти, – настаивал полицейский комиссар.

– О боже мой! Боже мой! – воскликнул Жакмен в ужасе. – О боже мой! Боже мой! Если бы я знал...

– Ну, что бы ты сделал? – спросил полицейский комиссар.

– Я бы убил себя!

Ледрю покачал головой и, посмотрев на полицейского комиссара, хотел, казалось, сказать ему: тут что-то неладно.

– Друг мой, – сказал он убийце, – пожалуйста, объясни мне, в чем дело?

– Да, я скажу вам все, что вы хотите, господин Ледрю, спрашивайте.

– Как это случилось? Как это у тебя хватило духу совершить убийство, а теперь ты не можешь пойти взглянуть на свою жертву? Что-то случилось, о чем ты не сказал нам?

– О да, нечто ужасное!

– Ну, пожалуйста, расскажи.

– О нет, вы не поверите, вы скажете, что я сумасшедший.

– Полно! Скажи мне: что случилось?

– Я скажу, но только вам.

Жакмен подошел к Ледрю.

Два жандарма хотели удержать его, но мэр сделал знак, и они оставили арестованного в покое.

К тому же если бы он и пожелал скрыться, то это было уже невозможно: половина населения Фонтенэ запрудила улицу Дианы и Большую.

Жакмен, как я уже сказал, приблизился к самому уху Ледрю.

– Поверите ли вы, – спросил он вполголоса, – поверите ли, чтобы голова, отделенная от туловища, могла говорить?

Ледрю испустил восклицание, похожее на крик ужаса, и заметно побледнел.

– Вы поверите, скажете? – повторил Жакмен.

Ледрю овладел собою.

– Да, – сказал он, – я верю.

– Да-да, она говорила...

– Кто?

– Голова... голова Жанны!

– Ты говоришь?..

– Я говорю, что ее глаза были открыты и она шевелила губами. Я говорю, что она смотрела на меня. Я говорю, что, глядя на меня, она сказала: «Негодяй...»

Произнося эти слова, которые он хотел сказать только Ледрю и которые прекрасно слышали все, Жакмен был ужасен.

– О, чудесно! – воскликнул, смеясь, доктор. – Она говорила! Отсеченная голова говорила! Ладно, ладно, ладно!

Жакмен повернулся к нему:

– Я же говорю вам!

– Ну, – сказал полицейский комиссар, – тем необходимее отправиться на место преступления. Жандармы, ведите арестованного!

Жакмен испустил крик и стал вырываться.

– Нет, нет, – кричал он, – можете изрубить меня на куски, а я туда не пойду!

– Пойдем, мой друг, – сказал Ледрю. – Если правда, что вы совершили страшное преступление, в котором вы себя обвиняете, то это будет искуплением. К тому же, – прибавил он тихо, – сопротивление бесполезно: если вы не пойдете добровольно, вас поведут силою.

– Ну, в таком случае, – сказал Жакмен, – я пойду, но пообещайте мне лишь одно, господин Ледрю...

– Что именно?

– Что все время, пока мы будем в погребке, вы не покинете

меня.

– Хорошо.

– Вы позволите держать вас за руку?

– Да.

– Ну хорошо, – сказал он, – идемте! – И, вынув из кармана клетчатый платок, он вытер покрытый потом лоб.

Все отправились в переулок Сержан.

Впереди шли полицейский комиссар и доктор, за ними Жакмен и два жандарма. Следом шагали Ледрю и два человека, появившиеся у двери одновременно с ним. Затем двигалось, как бурный и шумный поток, все население, в том числе и я.

Через минуту ходьбы мы вступили в переулок Сержан. То был маленький переулок, отходивший налево от Большой улицы; вел он к полуразвалившимся воротам с калиткой, едва державшейся на скобе.

По первому впечатлению все было тихо в доме; у ворот цвел розовый куст, а на каменной скамье грелась на солнце толстая рыжая кошка.

Завидев людей и заслышав шум, кошка испугалась, бросилась бежать и скрылась в отдушине погреба.

Подойдя к упомянутой калитке, Жакмен остановился.

Жандармы хотели заставить его войти.

– Господин Ледрю, – сказал он, оборачиваясь, – господин Ледрю, вы обещали не покидать меня.

– Конечно! Я здесь, – ответил мэр.

– Вашу руку! Вашу руку! – и он зашатался.

Ледрю подошел, подал знак двум жандармам отпустить арестованного и протянул ему руку.

– Я ручаюсь за него, – сказал он.

В этот момент Ледрю был не мэром общины, карающим преступление, то был философ, исследующий область таинственного.

Только направлял его в этом странном исследовании убийца.

Первыми вошли доктор и полицейский комиссар, за ними Ледрю и Жакмен, затем два жандарма и некоторые привилегированные лица, в числе которых был и я благодаря моему знакомству с жандармами, для которых я уже не был чужим, потому что встретился с ними в долине и предъявил им разрешение на ношение оружия.

Перед остальными же, к крайнему их неудовольствию, дверь закрылась. Мы направились к двери маленького дома. Ничто не указывало на происшедшее здесь страшное событие, все было на месте: в алькове – постель, покрытая зеленой саржей; в изголовье – распятие из черного дерева, украшенное веткой вербы, засохшей с прошлой Пасхи, на камине – младенец Иисус из воска между двумя посеребренными подсвечниками в стиле Людовика XVI, на стене – четыре раскрашенные гравюры в рамках из черного дерева, на которых изображены четыре стороны света.

На столе стоял один прибор, на очаге кипел горшок с су-

пом, била полчаса кукушка, открывая рот.

– Ну, – сказал развязным тоном доктор, – я пока ничего не вижу.

– Поверните в дверь направо, – прошептал глухо Жакмен. Последовав указанию арестованного, все очутились в каком-то погребе. Огляделись – из отверстия в углу, откуда-то снизу, пробивался свет.

– Там, там, – прошептал Жакмен, вцепившись в руку Ледрю и указывая на отверстие.

– А-а, – шепнул доктор полицейскому комиссару со страшной улыбкой человека, на которого ничто не производит впечатления, потому что он ни во что не верит, – кажется, мадам Жакмен последовала заповеди Адама.

И он стал напевать:

*Умру, меня похороните,
В погреб, где...*

– Тише! – перебил Жакмен. Лицо его покрылось смертельной бледностью, волосы встали дыбом, лоб вспотел. – Не пойте здесь!

Пораженный его голосом, доктор замолчал. И сейчас же, спускаясь по первым ступенькам лестницы, спросил:

– Что это такое?

Он нагнулся и поднял шпагу с длинным, испачканным в крови клинком.

То была шпага, взятая, по словам Жакмена, в Артиллерийском музее 29 июля 1830 года.

Полицейский комиссар взял ее из рук доктора.

– Узнаете эту шпагу? – спросил он арестованного.

– Да, – ответил Жакмен. – Ну, ну, скорее же.

Это была первая улика, на которую наткнулись. Прошли в погреб в том же порядке, как я упомянул выше.

Доктор и полицейский комиссар шли впереди, за ними – Ледрю и Жакмен, потом еще двое лиц, за ними жандармы, потом привилегированные, среди которых находился и я.

Когда я сошел на седьмую ступеньку, мой взор погрузился в темноту погреба, которую постараюсь описать.

Первый предмет, приковавший наши взоры, был труп без головы, лежавший у бочки; кран бочки был наполовину открыт, и из него текла струйка вина и, образовав ручеек, подтекала под доски.

Труп был скрючен, как будто в момент агонии жертва пригнулась, а ноги ее не послушались. Платье с одной стороны приподнято было до подвязки. По-видимому, жертва застигнута была на коленях у бочки, когда она наполняла бутылку, которая выпала у нее из рук и валялась поблизости.

Верхняя часть туловища плавала в крови.

На мешке с гипсом, прислоненном к стене, как бюст на колонне, стояла, вернее, мы догадывались, что она там стояла, голова, утопавшая в волосах; полоса крови окрашивала мешок сверху донизу.

Доктор и полицейский комиссар обошли труп и остановились перед лестницей.

Среди погребка стояли два приятеля Ледрю и несколько любопытных, которые поторопились проникнуть сюда.

Внизу, у лестницы, стоял Жакмен, которого не могли заставить двинуться дальше последней ступеньки. Возле Жакмена топтались два жандарма. Рядом стояло пять или шесть лиц, в числе которых находился и я.

Мрачная внутренность погребка была освещена дрожащим светом свечки, которая была поставлена на ту бочку, откуда текло вино и напротив которой лежал труп жены Жакмена.

– Подайте стол и стул, – распорядился полицейский комиссар и принялся за составление протокола.

III. Протокол

Затребованная мебель была доставлена полицейскому комиссару. Он укрепил стол, уселся перед ним, спросил свечку, которую принес ему доктор; перелезая через труп, вытащил из кармана чернильницу, перья, бумагу и начал составлять протокол.

Пока он заносил предварительные сведения, доктор с любопытством повернулся к голове, поставленной на мешок с гипсом, но комиссар его остановил.

– Не трогайте ничего, – сказал он, – законный порядок прежде всего.

– Верно, – сказал доктор и вернулся на свое место.

В течение нескольких минут царил тишина. Слышен был лишь скрип пера полицейского комиссара по плохой казенной бумаге. Написав несколько строк, он поднял голову и оглянулся.

– Кто будет нашими свидетелями? – спросил полицейский комиссар у мэра.

– Прежде всего эти два господина, – указал Ледрю на стоявших возле полицейского комиссара двух приятелей.

– Хорошо.

Мэр повернулся ко мне:

– Затем вот этот господин, если он не возражает, что его имя будет фигурировать в протоколе.

– Нисколько, сударь, – отвечал я.

– Итак, пожалуйста сюда, – сказал полицейский комиссар.

Я чувствовал отвращение, подходя к трупу. С того места, где я находился, некоторые подробности казались менее отвратительными, они как бы скрывались в полумраке, и над ужасом витал покров чего-то романтического.

– Это необходимо? – спросил я.

– Что?

– Чтобы я сошел вниз?

– Нет. Оставайтесь там, если вам это удобнее.

Я кивнул, как бы говоря: я желаю остаться там, где нахожусь.

Полицейский комиссар повернулся к двум приятелям Ледрю, которые стояли около него.

– Ваше имя, отчество, возраст, звание, занятие и местожительство? – спросил он скороговоркою человека, привыкшего задавать подобные вопросы.

– Жак Людовик Аллиет, – ответил тот, к кому он обратился, – журналист, живу на улице Ансиен-Комеди, 20.

– Вы забыли указать ваш возраст, – напомнил полицейский комиссар.

– Надо сказать, сколько мне лет в действительности или сколько дают на вид?

– Укажите ваш возраст, черт возьми! Нельзя же иметь два возраста!

– Да ведь, господин комиссар, существовали Калиостро,

граф Сен-Жермен, Вечный Жид, например...

– Вы хотите сказать, что вы Калиостро, граф Сен-Жермен или Вечный Жид? – сказал, нахмурившись, комиссар, полагая, что над ним смеются.

– Нет, но...

– Семьдесят пять лет, – уточнил Ледрю, – пишите: семьдесят пять лет, господин Кузен.

– Хорошо, – кивнул полицейский комиссар и записал.

– А вы, сударь? – обратился он ко второму приятелю Ледрю и повторил все те вопросы, которые предлагал первому господину.

– Пьер Жозеф Муль, шестидесяти одного года, духовное лицо при церкви Сен-Сюльпис, место жительства – улица Сервандони, одиннадцать, – ответил мягким голосом тот, кого он спрашивал.

– А вы, сударь? – спросил он, обращаясь ко мне.

– Александр Дюма, драматический писатель, двадцати семи лет, живу в Париже, на Университетской улице, двадцать один, – ответил я.

Ледрю повернулся в мою сторону и приветливо кивнул мне; я ответил тем же.

– Хорошо, – сказал полицейский комиссар. – Так вот, выслушайте, милостивые государи, и сделайте ваши замечания, если таковые имеются.

И носовым монотонным голосом, свойственным чиновникам, он прочел:

— «Сегодня, 1 сентября 1831 года, в два часа пополудни, будучи уведомлены, что совершено преступление в общине Фонтенэ, убита Мария Жанна Дюкузрэ ее мужем Пьером Жакменом, и что убийца отправился в квартиру господина Жан-Пьера Ледрю, мэра вышеименованной общины Фонтенэ, и заявил по собственному побуждению, что он совершил преступление, мы лично отправились в квартиру вышеупомянутого Жан-Пьера Ледрю, на улице Дианы, 2. В эту квартиру мы прибыли в сопровождении господина Себастьяна Робера, доктора медицины, живущего в общине Фонтенэ, и нашли там уже арестованного жандармами упомянутого Пьера Жакмена, который повторил в нашем присутствии, что он убийца своей жены; затем мы принудили его последовать за нами в дом, где совершено преступление. Сначала он отказывался следовать за нами, но вскоре уступил настоянию господина мэра, и мы направились в переулок Сержан, где находится дом, в котором живет господин Пьер Жакмен. Придя в дом и заперев дверь, дабы помешать проникнуть толпе, мы вошли в первую комнату, где ничто не указывало на совершенное преступление. Затем по приглашению вышеупомянутого Жакмена из первой комнаты перешли во вторую, в углу которой обнаружили лестницу. Когда нам указали, что эта лестница ведет в погреб, где мы должны найти труп жертвы, мы начали спускаться, и на первых же ступенях доктор нашел шпагу с рукояткой в виде креста и с большим острым лезвием. Вышеупомянутый Жакмен пока-

зал, что он взял ее во время июльской революции в Артиллерийском музее и воспользовался ею для совершения преступления.

На полу погребца найдено тело жены Жакмена, опрокинутое на спину и плавающее в крови. Голова отделена от туловища и положена направо на мешок с гипсом, прислоненный к стене. Вышеупомянутый Жакмен признал, что этот труп и голова есть труп и голова его жены, в присутствии господина Жан-Пьера Ледрю, мэра общины Фонтенэ, господина Себастьяна Робера, доктора медицины, проживающего в Фонтенэ, господина Жана Луи Аллиста, журналиста, семидесяти пяти лет, проживающего в Париже, по улице Ансиен-Комеди, 20, господина Пьера Жозефа Мулля, шестидесяти одного года, духовного лица при Сен-Сюльпис, проживающего в Париже, по улице Сервандони, 11, господина Александра Дюма, драматического писателя, двадцати семи лет, проживающего в Париже, по Университетской улице, 21. После этого мы приступили к допросу обвиняемого».

– Так ли изложено, милостивые государи? – спросил полицейский комиссар, обращаясь к нам с очевидным самодовольством.

– Вполне, милостивый государь, – ответили мы в один голос.

– Ну что же, будем допрашивать обвиняемого.

И он обратился к арестованному, который во все время чтения протокола тяжело дышал и находился в ужасном со-

стоянии.

– Обвиняемый, – сказал он, – ваше имя, отчество, возраст, местожительство и занятие.

– Долго еще это продлится? – спросил арестованный, как бы в полном изнеможении.

– Отвечайте: ваше имя и отчество?

– Пьер Жакмен.

– Ваш возраст?

– Сорок один год.

– Ваше местожительство?

– Переулок Сержан.

– Ваше занятие?

– Каменотес.

– Признаете ли вы, что совершили преступление?

– Да.

– Объясните, по какой причине вы совершили преступление и при каких обстоятельствах?

– Объяснять причину, почему я совершил преступление, бессмысленно, – сказал Жакмен, – это тайна моя и той, которая там.

– Однако нет действия без причины.

– Причины, я говорю вам, вы не узнаете. Что же касается обстоятельств, то вы желаете их знать?

– Да.

– Ну, я расскажу вам о них. Когда работаешь под землей, как мы, впотьмах и когда у вас горе, вам в голову поневоле

лезут дурные мысли.

– Ого, – прервал его полицейский комиссар, – вы признаете предумышленность совершенного преступления?

– Э, конечно, раз я признаюсь во всем. Разве этого мало?

– Вполне достаточно. Продолжайте.

– Мне пришла в голову дурная мысль – убить Жанну. Уже целый месяц смущала она меня, чувство мешало рассудку, наконец, одно слово товарища заставило меня решиться.

– Какое слово?

– О, это не ваше дело. Утром я сказал Жанне, что не пойду сегодня на работу: погуляю по-праздничному, поиграю в кегли с товарищами. «Приготовь обед к часу. Но... ладно... без разговоров. Слышишь, чтобы обед был готов к часу...» – «Хорошо», – сказала Жанна и отправилась за провизией.

Я же вместо того, чтобы пойти играть в кегли, взял шпагу, которая теперь у вас. Наточил я ее сам на точильном камне, спустился в погреб, спрятался за бочку и сказал себе: она сойдет в погреб за вином, вот тогда и увидим. Сколько времени я сидел, скорчившись за бочкой, которая лежит вот тут, направо, не знаю; меня била лихорадка, сердце стучало, и в темноте передо мною носились красные круги. И я слышал голос, повторивший слово, то слово, которое вчера сказал мне товарищ.

– Но что же это, наконец, за слово? – настаивал полицейский комиссар.

– Бесполезно об этом спрашивать! Я уже сказал вам, что

вы никогда его не узнаете...

Наконец я услышал шорох платья, шаги приближались. Вижу, мерцает свеча; вижу, спускается нижняя часть тела, верхняя, потом ее голова... Я хорошо ее видел... Она держала свечу в руке. «А, ладно», — сказал я и шепотом повторил слово, которое мне сказал товарищ. В это время Жанна подходила. Честное слово! Она как будто предчувствовала, что готовится что-то дурное для нее. Она боялась. Она оглядывалась по сторонам, но я хорошо спрятался, я не шевелился. Она стала на колени перед бочкой, поднесла бутылку и повернула кран.

Тогда я приподнялся. Вы понимаете: она стояла на коленях. Шум вина, лившегося в бутылку, мешал ей слышать производимый мною шум. Да я и не шумел. Она стояла на коленях, как виноватая, как осужденная. Я поднял шпагу, и — не помню, испустила ли она крик, — голова покатилась. В эту минуту я не хотел умирать, я хотел спастись. Я намеревался вырыть яму и похоронить ее. Я бросился к голове, она катилась, и туловище также подскочило. У меня заготовлен был мешок гипса, чтобы скрыть следы крови. Я взял голову или, вернее, голова заставила меня себя взять. Смотрите! — Он показал на правой руке большой укус, обезобразивший большой палец.

— Как? Голова, которую вы взяли... Что вы, черт возьми, там городите?

— Я говорю, она меня укусила своими прекрасными зубами.

ми, как видите. Я говорю вам, она меня не отпускала. Я поставил ее на мешок с гипсом, я прислонил ее к стене левой рукой, стараясь вырвать правую, но через минуту зубы сами разжались. Я вытащил наконец руку, но мне показалось (может быть, это безумие), что голова жива. Глаза были широко раскрыты – я хорошо это видел: свеча стояла на бочке. А затем губы пошевелились и произнесли: «Негодяй, я была невинна»!

Не знаю, какое впечатление это произвело на других, но что касается меня, то у меня пот струился со лба.

– А уж это чересчур! – воскликнул доктор. – Глаза на тебя смотрели, губы говорили?

– Слушайте, господин доктор, так как вы врач, то ни во что не верите, это естественно, но я вам говорю, что голова, которую вы видите там... Слышите, я говорю вам, что она укусила меня и сказала: «Негодяй, я была невинна»! А доказательство того, что она мне это сказала, в том, что я хотел убежать, убив ее. Не правда ли, Жанна? И вместо того, чтобы спастись, я побежал к господину мэру и во всем сознался. Правда, господин мэр, ведь правда? Отвечайте!

– Да, Жакмен, – отвечал Ледрю тоном, в котором звучала доброта. – Да, правда.

– Осмотрите голову, доктор, – сказал полицейский комиссар.

– Когда я уйду, господин Робер, когда я уйду?! – закричал Жакмен.

– Что же ты, дурак, боишься, что она опять заговорит с тобой? – спросил доктор, взяв свечу и подходя к мешку с гипсом.

– Господин Ледрю, ради бога! – попросил Жакмен. – Скажите, чтобы они отпустили меня, прошу вас, умоляю вас.

– Господа, – сказал мэр, жестом останавливая доктора, – вам уже не о чем расспрашивать этого несчастного, так позвольте отвести его в тюрьму. Когда закон установил очную ставку, то предполагалось, что обвиняемый в состоянии таковую вынести.

– А протокол? – спросил полицейский комиссар.

– Он почти кончен.

– Надо, чтобы обвиняемый его подписал.

– Он его подпишет в тюрьме.

– Да, да! – воскликнул Жакмен. – В тюрьме я подпишу все, что вам угодно.

– Хорошо, – согласился полицейский комиссар.

– Жандармы, уведите этого человека! – приказал Ледрю.

– О, благодарю вас, господин Ледрю, благодарю, – произнес Жакмен с выражением глубокой благодарности и, подхватив под руки жандармов, он со сверхъестественной силой потащил их вверх по лестнице.

Человек ушел, и драма ушла вместе с ним. В погребе остались ужасные предметы: труп без головы и голова без туловища.

Я нагнулся, в свою очередь, к Ледрю.

– Милостивый государь, – сказал я, – могу я уйти?

– Да, милостивый государь, но с условием.

– Каким?

– Вы придете ко мне подписать протокол.

– С удовольствием, милостивый государь, но когда?

– Приблизительно через час. Я покажу вам мой дом, когда-то он принадлежал Скаррону, вас это заинтересует.

– Через час, милостивый государь, я буду у вас.

Я поклонился, поднялся по лестнице и с последней ступеньки оглянулся.

Доктор со свечой в руке отстранял волосы от лица. Это была еще красивая женщина, насколько можно было заметить, так как глаза были закрыты, губы сжаты и уже посинели.

– Вот дурак Жакмен! – сказал доктор. – Уверяет, что отсеченная голова может говорить! Может быть, он все выдумал, чтобы его приняли за сумасшедшего. Недурно: будут смягчающие обстоятельства.

IV. Дом Скаррона

Через час я был у Ледрю, встретил я его во дворе.

– А, – сказал он, увидев меня, – вот и вы! Прекрасно, очень рад поговорить с вами. Я познакомлю вас со своими приятелями. Вы обедаете с нами, конечно?

– Но, сударь, вы меня извините...

– Не принимаю извинений. Вы попали ко мне в четверг, тем хуже для вас: четверг – мой день; все, кто является ко мне в четверг, принадлежат мне. После обеда вы можете остаться или уйти. Если бы не событие, случившееся только что, вы бы меня нашли за обедом, я всегда обедаю в два часа. Сегодня, как исключение, мы пообедаем в половине четвертого или в четыре. Пирр, которого вы видите, – указал Ледрю на прекрасного дворового пса, – воспользовался волнением тетушки Антуан и съел у нее баранью ногу, так что ей пришлось покупать у мясника другую. Я успею не только познакомить вас со своими приятелями, но и сообщить вам кое-какие сведения о них.

– Какие сведения?

– Да ведь относительно некоторых личностей, таких, например, как Севильский цирюльник, или Фигаро, необходимо дать кое-какие пояснения об их костюме и характере. Но мы с вами начнем с дома.

– Вы мне, кажется, сказали, сударь, что он принадлежал

Скаррону?

– Да, здесь будущая супруга Людовика XIV раньше, чем развлекать человека, которого трудно было развлечь, ухаживала за бедным калекой, своим первым мужем. Вы увидите ее комнату.

– Комнату мадам Ментенон?

– Нет, мадам Скаррон. Не будем смешивать: комната мадам Ментенон находится в Версале или в Сен-Сире. Пойдемте.

Мы пошли по большой лестнице и вошли в коридор, выходящий во двор.

– Вот, – сказал мне Ледрю, – это вас касается, господин поэт. Вот самый высокий слог, каким говорили в тысяча шестьсот пятидесятом году.

– А-а! Карта Нежности!

– Дорога туда и обратно начерчена Скарроном, а заметки сделаны рукой его жены.

Действительно, в простенках помещались две карты. Они были начерчены пером на большом листе бумаги, наклеенном на картон.

– Видите, – продолжал Ледрю, – эту синюю змею? Это река Нежности; эти маленькие голубятни – это деревни: Ухаживания, Записочки, Тайна. Вот гостиница Желания, долины Наслаждений, мост Вздохов, лес Ревности, населенный чудовищами, подобными Армиду. Наконец, среди озера, в котором берет начало река, дворец Полное Довольство: ко-

нец путешествию, цель всего пути.

– Черт возьми! Что я вижу – вулкан?

– Да, он иногда разрушает страну. Это вулкан страстей.

– Его нет на карте мадемуазель де Скюдери?

– Нет. Это изобретение мадам Скаррон.

– А другая?

– Это возвращение. Видите, река вышла из берегов: она наполнилась слезами тех, кто идет по берегу. Вот деревни Скуки, гостиница Сожалений, остров Раскаяния. Это очень остроумно.

– Вы позволите мне срисовать?

– Ах, пожалуйста. Теперь пойдемте в комнату мадам Скаррон?

– Пожалуйста!

– Вот сюда.

Ледрю открыл дверь и пропустил меня вперед.

– Теперь это моя комната. Если не считать книг, которыми она завалена, все сохранилось в том же виде, как при знаменитой хозяйке: тот же альков, та же кровать, та же мебель; эти уборные принадлежали ей.

– А комната Скаррона?

– О, комната Скаррона находилась на другом конце коридора. Ее вы уже не увидите, туда нельзя войти: это секретная комната, комната Синей Бороды.

– Черт возьми!

– Да, у меня есть тайны, хотя я и мэр. Пойдемте, я покажу

вам нечто другое.

Ледрю пошел вперед; мы спустились по лестнице и вошли в гостиную.

Как все в этом доме, гостиная носила особый отпечаток. Обои были такого цвета, что трудно было определить их прежний цвет; вдоль стены стоял двойной ряд кресел и ряд стульев со старинной обивкой; затем расставлены были карточные столы и маленькие столики; среди всего этого, как Левиафан среди рыб, возвышался гигантский письменный стол, занимавший треть гостиной; стол был завален всевозможными книгами, брошюрами, газетами, среди которых особое место занимала любимая газета Ледрю «Конститусьонель».

В гостиной никого не было – гости гуляли в саду, который виден был из окон на всем его протяжении.

Ледрю подошел к столу, открыл громадный ящик, в котором хранилось множество маленьких пакетиков, наподобие пакетиков с семенами. Все предметы в ящике завернуты были в бумажки с ярлычками.

– Вот, – сказал он мне, – для вас, историка, нечто поинтереснее карты Нежности. Это коллекция мощей, но не святых, а королевских.

Действительно, в каждой бумажке хранились кость, волосы, борода. Там были: коленная чашка Карла IX, большой палец Франциска I, кусок черепа Людовика XIV, ребро Генриха II, позвонок Людовика XV, борода Генриха IV и волосы

Людовика XVI.

Тут от каждого короля была кость, из всех костей можно было бы составить скелет французской монархии, которой давно уже не хватает главного остова. Кроме того, тут был зуб Абеляра и зуб Элоизы – два белых резца. Быть может, когда-то, когда их покрывали дрожащие губы, они встречались в поцелуе? Откуда эти кости?

Ледрю присутствовал, когда вырывали из могилы королей в Сен-Дени, и взял из каждой могилы то, что ему понравилось.

Ледрю предоставил мне время удовлетворить любопытство; затем, увидя, что я уже пересмотрел все ярлычки, сказал:

– Ну, довольно заниматься мертвыми, перейдем к живым.

Он подвел меня к одному из окон, откуда виден был весь сад.

– У вас чудный сад, – сказал я.

– Сад священника, с липами, георгинами, розовыми кустами, виноградником, шпалерными персиками и абрикосами. Вы все потом увидите, а теперь займемся теми, кто в нем гуляет.

– Скажите, пожалуйста, что это за господин Аллиет, который спросил, хотят ли знать его настоящий возраст или только тот, какой ему можно дать? Мне кажется, ему и можно дать семьдесят пять лет.

– Именно, – ответил Ледрю. – Я хотел с него начать. Вы

читали Гофмана?

– Да. А что?

– Ну так вот, это гофмановский тип. Он тратит свою жизнь на то, чтобы по картам и по числам отгадывать будущее; все, что он получает, он тратит на лотерею. Он однажды выиграл на три билета подряд и с тех пор никогда не выигрывал. Он знал Калиостро и графа Сен-Жермена; он считает себя сродни им и знает, как и они, секрет долголетия. Его настоящий возраст, если вы его спросите, двести семьдесят пять лет: он жил раньше сто лет без болезней в царствование Генриха II и в царствование Людовика XIV; затем, обладая секретом, он хотя и умер на глазах смертных, но испытал три превращения, длившихся пятьдесят лет каждое. Теперь он начинает четвертое, и ему поэтому двадцать пять лет. Двести пятьдесят предыдущих лет остались у него лишь в памяти. Он громко заявляет, что будет жить до последнего суда. В пятнадцатом столетии Аллиет был бы сожжен, и конечно же, напрасно; теперь его жалеют, и это тоже напрасно. Аллиет – самый счастливый человек на свете: он интересуется только игрой и гаданием на картах, колдовством, египетскими науками да знаменитыми таинствами Изида. Он печатает по этим вопросам книжечки, которых никто не читает, а между тем издатель, такой же маньяк, как и он, издает их под псевдонимом; у него шляпа всегда набита брошюрами. Вот, посмотрите, он держит ее под мышкой, поскольку боится, что кто-нибудь возьмет его драгоценные книжки. Посмотрите на

человека, посмотрите на одежду, и вы увидите, какие природа дает сочетания; как именно эта шляпа подходит к голове, а человек к шляпе, как трико обтягивает формы, как выражаетесь вы, романтики.

И действительно, все так и было. Я смотрел на Аллиета. Он был одет в засаленное платье, изношенное, запыленное, все в пятнах; его шляпа с блестящими полями, как бы из лакированной кожи, как-то несоразмерно расширялась вверх; на нем были штаны из черного ратине, рыжие чулки и башмаки с закругленными носками, как у тех королей, в царствование которых он, по его словам, родился.

Он был толст, коренаст, с лицом сфинкса, с красными прожилками, с громадным беззубым ртом, с большой глоткой, с жидкими, длинными, рыжими волосами, развевавшимися в виде ореола вокруг головы.

– Он говорит с аббатом Муллем, – сказал я Ледрю. – Он сопровождал нас в нашей экспедиции сегодня утром. Мы еще поговорим об этой экспедиции, не правда ли?

– А почему? – спросил Ледрю, глядя на меня с любопытством.

– Потому что, извините, пожалуйста, мне показалось, вы допускали возможность, что эта голова могла говорить.

– Вы, однако, физиономист. Ну да, конечно, я верю этому, и мы об этом еще поговорим. Впрочем, если вы интересуетесь подобными историями, то здесь найдете с кем об этом поговорить. Перейдемте к аббату Муллю.

– Должно быть, – прервал я его, – это очень общительный человек. Меня поразила мягкость его голоса, с какой он отвечал на вопросы полицейского комиссара.

– Ну и на этот раз вы хорошо определили. Мулль – мой друг уже в течение сорока лет, а ему теперь шестьдесят; посмотрите, он настолько чист и аккуратен, насколько Аллиет грязен и засален. Это светский человек, когда-то его принимали в Сен-Жерменском предместье. Это он венчал сыновей и дочерей пэров Франции; свадьбы эти давали ему возможность произносить маленькие проповеди, которые брачащиеся стороны печатали и старательно сохраняли в семье. Он чуть было не стал епископом в Клермоне. Знаете, почему не стал? Он был когда-то другом Казотта, и, как Казотт, он верит в существование высших и низших духов, добрых и злых гениев, собирает коллекцию книг, как и Аллиет. У него вы найдете все, что написано о призраках, о привидениях, духах, выходах с того света.

Говорит он редко, и только с друзьями, о вещах не вполне ортодоксальных, но он убежден и очень сдержан; все, что происходит в свете, он приписывает вмешательству ада либо небесных сил.

Смотрите, он молча слушает все, что говорит ему Аллиет, он, кажется, рассматривает какой-то предмет, которого не видит его собеседник, и отвечает ему время от времени или движением губ, или кивком головы. Иногда он впадает в мрачную меланхолию, вздрагивает, поворачивает голову, хо-

дит взад-вперед по гостиной. В этих случаях его лучше оставить в покое: будить его просто опасно; я говорю «будить», так как, по-моему, он тогда пребывает в состоянии сомнамбулизма. К тому же он сам просыпается, и вы увидите, какое это милое пробуждение.

– О, скажите, пожалуйста, – обратился я к Ледрю, – мне кажется, он вызвал одного из тех призраков, о которых вы только что говорили?

И я показал пальцем моему хозяину настоящий странствующий призрак, присоединившийся к двум собеседникам. Он осторожно ступал по цветам и, мне казалось, шагал по ним, не измяв ни одного.

– Это также один из моих приятелей, кавалер Ленуар...

– Основатель музея Пети-Огюстен?

– Он самый. Он смертельно огорчен, что его музей разорен; его десять раз чуть не убили за этот музей, в девяносто втором и девяносто четвертом годах. Во время Реставрации музей закрыли и приказали возвратить все памятники в те здания, в которых они раньше находились, и тем семьям, которые имели на них право.

К сожалению, большая часть памятников была уничтожена, большая часть семей вымерла, и самые интересные обломки нашей древней скульптуры и нашей истории были разбросаны, погибли. Вот так и исчезает все в нашей старой Франции: сначала останутся эти обломки, потом и от этих обломков ничего не останется. А кто же все это разрушает?!

Именно те, в интересах которых и следовало бы сохранять.

И Ледрю, несмотря на свой либерализм, вздохнул.

– И это все ваши приятели? – спросил я его.

– Может быть, еще придет доктор Робер. Я вам о нем не говорю, полагаю, вы уже составили себе о нем мнение. Это человек, проделывавший всю жизнь опыты над живыми людьми, будто над манекенами, забывая при этом, что у них есть душа, чтобы страдать, и нервы, чтобы чувствовать. Этот любящий пожить человек многих отправил на тот свет, но, к своему счастью, он не верит в выходцев с того света. Посредственный ум, мнящий себя остроумным, потому что всегда шумит, философ, потому что атеист; он один из тех людей, которого принимают, потому что он сам к вам приходит. Вам же не придет в голову идти к ним.

– О, сударь, мне знакомы такие люди!

– Должен был прийти еще один мой приятель. Он моложе Аллиета, аббата Мулля и кавалера Ленуара, но, как Аллиет, увлекается гаданием на картах, как Мулль, верит в духов и, как кавалер Ленуар, увлекается древностями; ходячая библиотека – каталог, переплетенный в кожу христианина. Вы, должно быть, его не знаете?

– Библиофил Жакоб?

– Именно.

– И он не придет?

– Он не пришел еще; он знает, что мы обыкновенно обедаем в два часа, а теперь четыре часа. Вряд ли он явится.

Он, верно, разыскивает какую-нибудь книжечку, напечатанную в Амстердаме в 1570 году, первое издание с тремя типографскими опечатками: на первом листе, на седьмом и на последнем.

В эту минуту дверь отворилась, и вошла тетка Антуан.

– Сударь, кушать подано, – объявила она.

– Пойдемте, господа, – сказал Ледрю, открыв, в свою очередь, дверь в сад. – Кушать, пожалуйста, кушать!

А затем повернулся ко мне:

– Где-то в саду ходит, кроме гостей, о которых я вам все рассказал, еще один гость, которого вы не видели и о котором я вам не говорил. Этот гость не от мира сего, чтобы откликнуться на грубый зов, обращенный к моим приятелям, на который они сейчас же откликнулись. Ваша задача – отыскать нечто невещественное, прозрачное видение, как говорят немцы. Если найдете искомое, назовите себя, постарайтесь внушить, что иногда нелишне поесть, хотя бы для того, чтобы жить, предложите вашу руку и приведите к нам.

Я послушался Ледрю, догадываясь, что этот милый человек, которого я вполне оценил в эти несколько минут, готовит мне приятный сюрприз, и пошел в сад, оглядываясь по сторонам.

Мои поиски были непродолжительны. Вскоре я увидел то, что искал.

То была женщина. Она сидела под липами; я не видел ни лица ее, ни фигуры, потому что лицо ее обращено было в

сторону поля и она была закутана в большую шаль.

Она была одета в черное.

Я подошел к ней – она не двигалась. Она будто не слышала шума моих шагов. Она напоминала мне статую, хотя все в ней казалось грациозным и полным достоинства.

Издали я видел, что это блондинка. Луч солнца, проникая через листву лип, сверкал в ее волосах, и они отливали золотом. Вблизи я заметил тонкость волос, которые могли соперничать с золотистыми нитями паутины, какие первые ветры осени поднимают и носят по воздуху; ее шея, может быть, немного длинная, – очаровательное преувеличение почти всегда подчеркивает красоту, – грациозно сгибалась, голову она подпирала правой рукой, локоть которой лежал на спинке стула; левая рука повисла, и в ней была белая роза, лепестки которой она перебирала. Гибкая шея, как у лебедя, согнутая, опущенная рука – все было матовой белизны, как паросский мрамор без жилок на поверхности, без пульса внутри; увядшая роза казалась более окрашенной и живой, чем рука, в которой она находилась. Я смотрел на эту женщину, и чем дольше это длилось, тем меньше она казалась мне живым существом. Я даже сомневался, сможет ли она обернуться ко мне, если я заговорю. Два или три раза я открывал было рот и закрывал его, не произнося ни слова. Наконец, решившись, я окликнул ее:

– Сударыня!

Она вздрогнула, обернулась, посмотрела с удивлением,

как бы возвращаясь из мира мечты и воспоминаний. Ее черные глаза, устремленные на меня, в сочетании со светлыми волосами, которые я описал (брови у нее были тоже черные), придавали ей странный вид.

Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга.

Женщине этой было года тридцать два или тридцать три; она была чудной красоты, если бы щеки ее не были так худы и цвет лица не был так бледен; хотя она и теперь казалась мне красивой, с ее лицом, перламутровым, одного оттенка с рукой, без малейшей краски; ее глаза казались черными как смоль, а губы коралловыми.

– Сударыня, – повторил я, – господин Ледрю полагает, что, если я скажу, что я автор «Генриха III», «Христины» и «Антони», вы позволите мне отрекомендоваться вам, предложить руку и проводить вас в столовую.

– Извините, сударь, – сказала она, – вы только что подошли, не правда ли? Я чувствовала, что вы подходите, но не могла обернуться; со мною так бывает, иногда я не могу повернуться. Ваш голос нарушил очарование. Дайте руку, пойдемте.

Она встала и взяла меня под руку, но я не чувствовал прикосновения ее руки, как будто тень шла рядом со мною.

Мы пришли в столовую, так и не сказав друг другу ни слова.

Два прибора были оставлены за столом: один для нее – направо от Ледрю, другой для меня – напротив нее.

V. Пощечина Шарлотте Корде

Этот стол, как и все у Ледрю, был особенный. Большой стол имел форму подковы, придвинут был к окнам, выходившим в сад, и оставлял свободными три четверти громадной залы. За столом можно было усадить без затруднений человек двадцать; обедали всегда за ним, – все равно, был ли у Ледрю один гость, было ли их два, четыре, десять, двадцать или он обедал один. В этот день нас обедало десять человек, и мы едва занимали треть стола.

Каждый четверг подавался один и тот же обед.

Ледрю полагал, что за истекшую неделю его гости ели другие кушанья дома или в гостях, куда их приглашали, поэтому у него по четвергам всегда подавали суп, мясо, курицу с эстрагоном, баранью ногу, бобы и салат. Число куриц увеличивалось пропорционально количеству гостей.

Мало было гостей или много, Ледрю всегда усаживался на конце стола спиною к саду, лицом ко двору. Вот уже десять лет сидел он на этом месте в большом кресле с резьбой и в течение десяти лет получал из рук садовника Антуана, превращавшегося по четвергам из садовника в лакея, кроме простого вина несколько бутылок старого бургундского. Подносилось ему вино с благоговейной почтительностью; он откупоривал бутылку и угощал гостей с тем же почтительным, благоговейным чувством.

Восемнадцать лет назад кое во что еще верили; через десять лет не будут верить ни во что, даже в старое вино.

Обед прошел, как проходит всякий обед: хвалили кухню, расхваливали вино.

Молодая женщина ела только крошки хлеба, пила воду и не произнесла ни слова. Она напоминала мне ту обжору из «Тысячи и одной ночи», которая садилась за стол с другими и ела несколько зернышек риса зубочисткой.

После обеда по установившемуся обычаю перешли в гостиную пить кофе. Мне, конечно, пришлось вести под руку молчаливую гостью. Она сама подошла ко мне, чтобы опереться о мою руку. Та же мягкость в движениях, та же грация в осанке – точнее, та же легкость в членах.

Я подвел ее к креслу, в которое она улеглась.

Во время нашего обеда два лица введены были в гостиную – доктор и полицейский комиссар. Последний явился, чтобы дать нам подписать протокол, который Жакмен уже подписал в тюрьме.

Маленькое пятно крови заметно было на бумаге, и я, подписывая, спросил:

– Что это за пятно? Кровь мужа или жены?

– Это кровь из раны, которая обнаружилась на руке убийцы. Ее никак не могли остановить.

– Знаете что, господин Ледрю, – сказал доктор, – эта скотина настаивает, что голова его жены говорила!

– Вы полагаете, что это невозможно, доктор?

– Черт возьми!

– Вы считаете неправдоподобным то, что она открывала глаза?

– Я считал это невозможным.

– Вы не допускаете, что кровь, остановившись от слоя гипса, закупорившего все артерии и вены, могла вернуть на одно мгновение жизненный импульс и чувствительность этой голове?

– Я этого не допускаю.

– А я, – сказал Ледрю, – верю в это.

– И я также, – сказал Аллиет.

– И я также, – сказал аббат Муль.

– И я также, – сказал кавалер Ленуар.

– И я также, – сказал я.

Полицейский комиссар и бледная дама не сказали ничего: их это не интересовало.

– А, вы все против меня. Вот если бы кто-либо из вас был врачом...

– Но, доктор, – возразил Ледрю, – вы знаете, что я отчасти врач.

– В таком случае, – сказал доктор, – вы должны узнать, что там, где утрачена чувствительность, нет и страдания, а чувствительность прекращается при рассечении позвоночного столба.

– А кто вам это сказал? – спросил Ледрю.

– Рассудок, черт возьми!

– О, прекрасный ответ! Рассудок подсказал судьям, которые осудили Галилея, что Солнце вращается вокруг Земли, а Земля неподвижна? Рассудок доводит до глупости, мой милый доктор. Вы делали опыты над отрезанными головами?

– Нет, никогда.

– Читали вы диссертацию Sommering? Читали протокол доктора Сю? Читали заявление Эльхера?

– Нет.

– Но вы верите Гийотену, что его машина – самый лучший, самый верный и самый скорый и вместе с тем наименее болезненный способ лишения жизни?

– Да, я так думаю.

– Ну! Вы ошибаетесь, мой милый друг, вот и все.

– Например?

– Слушайте, доктор, вы ссылаетесь на науку, и я буду говорить вам о науке. Поверьте, все мы знаем по этому предмету столько, что можем принять участие в беседе.

Доктор сделал жест, выражающий сомнение.

– Ну, ладно, вы потом и сами это поймете.

Мы все подошли к Ледрю, и я, в свою очередь, стал жадно прислушиваться. Вопрос о казни посредством веревки, меча или яда меня всегда очень интересовал, как и вопросы милосердия.

Я самостоятельно занимался исследованиями страданий, предшествующих смерти разного рода, сопутствующих им и следующих за ними.

– Хорошо, говорите, – сказал доктор недоверчивым тоном.

– Это легко доказать всякому, у кого есть хотя бы малейшие представления о жизненных функциях нашего тела, – продолжал Ледрю. – Чувствительность не уничтожается казнью, и мое предположение, доктор, опирается не на гипотезы, а на факты.

– Укажите-ка эти факты...

– Вот они. Во-первых, центр ощущений находится в мозгу, не правда ли?

– Вероятно.

– Проявления чувствительности могут ведь иметь место и при остановке кровообращения в мозгу, или при временном его ослаблении, или при частичном его нарушении.

– Возможно.

– Если же центр чувствительности находится в мозгу, то казненный должен осознавать себя до тех пор, пока мозг сохраняет свою жизненную силу.

– А какие доказательства?

– Да вот, Галлер в своих «Элементах физики», том четвертый, страница тридцать пятая, говорит: «Отсеченная голова открыла глаза и смотрела на меня сбоку, потому что я тронул пальцем спинной мозг».

– Но ведь Галлер мог ошибаться.

– Хорошо, допустим, что он ошибался. Другой пример: на странице двести двадцать шестой Вейкард в «Философских

искусствах» говорит: «Я видел, как шевелились губы человека, голова которого была отсечена».

– Хорошо-с, но шевелиться, чтобы говорить...

– Подождите, мы дойдем до этого. Вот, можете поискать у Соммеринга. Он говорит: «Некоторые доктора, мои коллеги, уверяли меня, что голова, отсеченная от туловища, скрежетала от боли зубами, и я убежден, что, если бы воздух циркулировал еще в органах речи, голова бы заговорила». Итак, доктор, – продолжал, бледнея, Ледрю, – я иду дальше Соммеринга: голова мне говорила. Слышите – мне.

Мы все вздрогнули. Бледная дама приподнялась в своем кресле:

– Вам?

– Да, мне. Скажете, что я сумасшедший?

– Черт возьми! – воскликнул доктор. – Если вы уверяете, что вам самому...

– Говорю же вам, что это случилось со мной самим. Вы слишком вежливы, доктор, не правда ли, чтобы сказать мне во весь голос, что я сумасшедший, но вы скажете это про себя, а это ведь решительно все равно.

– Ну хорошо, продолжайте, – сказал доктор.

– Вам легко это говорить. А знаете ли вы, что то, о чем вы просите меня рассказать, я никому не рассказывал в течение тридцати семи лет с тех пор, как это со мной случилось; знаете ли вы, что я не ручаюсь за то, что не упаду в обморок, когда буду рассказывать вам, как эта отсеченная голова заго-

ворила, как устремила на меня, умирая, последний взгляд?

Разговор становился все более и более интересным, а ситуация все более и более драматичной.

– Ну, Ледрю, соберитесь с мужеством, – сказал Аллиет, – расскажите нам об этом.

– Расскажите-ка нам об этом, мой друг, – попросил и аббат Муль.

– Расскажите, – поддержал его кавалер Ленуар.

– Сударь... – прошептала бледная дама.

Я молчал, но и в моих глазах светилось любопытство.

– Странно, – сказал Ледрю, не отвечая нам и как бы разговаривая сам с собою, – странно, как события влияют одно на другое! Вы знаете, кто я? – обернулся Ледрю ко мне.

– Я знаю, сударь, – отвечал я, – что вы очень образованный, умный человек, что вы задаете превосходные обеды и что вы мэр Фонтенэ.

Ледрю улыбнулся и кивком поблагодарил меня.

– Я говорю о моем происхождении, о моей жизни, – пояснил он.

– О вашем происхождении, сударь, мне ничего не известно, и вашей семьи я не знаю.

– Хорошо, слушайте, я все вам расскажу, и, быть может, сама собою передастся вам и та история, которую вы хотите знать и о которой я не решаюсь вам рассказать.

Если она расскажется – хорошо, вы ее выслушаете, если не расскажется – не просите меня больше ни о чем, значит,

не хватило духу ее рассказать.

Все расположились так, чтобы удобнее было слушать. Гостиная, кстати, была вполне приспособлена для рассказов и легенд – большая и мрачная из-за тяжелых занавесей и наступивших сумерек; углы были уже совершенно погружены во мрак, между тем как через двери и окна еще пробивались остатки света.

В одном из этих углов сидела бледная дама. Ее черное платье терялось во мраке. Только голова, белокурая и неподвижная, светлела на подушке дивана.

Ледрю начал:

– Я сын Комю, известного физика короля и королевы. Мой отец, которого из-за смешной клички причислили к фиглярам и шарлатанам, был ученый школы Вольты, Гальвани и Месмера. Он первый во Франции занимался туманностями и электричеством, устраивал математические и физические заседания при дворе.

Бедная Мария-Антуанетта, которую я, будучи ребенком, по приезде ее во Францию видел раз двадцать и которая часто брала меня на руки и целовала, была безумно расположена к нему. Во время приезда своего в тысяча семьсот семьдесят седьмом году Иосиф Второй сказал, что он не встречал никого интереснее Комю.

Отец мой тогда наряду с другими занятиями занимался также нашим воспитанием – моим и моего брата, он обучал нас естественным наукам, сообщал нам массу сведений из

области физики, гальванизма, магнетизма, которые теперь стали всеобщим достоянием, но в то время составляли тайные привилегии немногих. Моего отца арестовали в девяносто третьем году за титул физика короля, однако мне удалось освободить его благодаря моим связям с монтаньярами.

Тогда мой отец поселился в этом самом доме, в котором живу теперь я, и умер здесь в тысяча восемьсот седьмом году семидесяти шести лет от роду.

Теперь обратимся ко мне.

Я говорил о моей связи с монтаньярами. Я был в дружбе с Жоржем Дантоном и Камилем Демуленом. Я знал Марата, но знал как врача, а не как приятеля. И все-таки я его знал. Вследствие этого знакомства, хотя и очень кратковременного, когда мадемуазель Шарлотту Корде вели на эшафот, я решил присутствовать при ее казни.

– Я только что хотел, – перебил его я, – поддержать вас в вашем споре с доктором Робером о сохранении жизнедеятельности, приведя в качестве доказательства историю Шарлотты Корде.

– Мы дойдем до этого факта, – прервал Ледрю, – дайте мне рассказать. Я был очевидцем, и вы можете мне верить. В два часа пополудни я занял место у статуи Свободы. Было жарко, душно, небо предвещало грозу.

И в четыре часа она разразилась. Говорят, что именно в это время Шарлотта села в тележку.

Ее взяли из тюрьмы в тот момент, когда молодой худож-

ник рисовал ее портрет. Ревнивая смерть не захотела, чтобы что-либо сохранилось от девушки, даже портрет.

На полотне сделан был набросок головы, и – странное дело! – в ту минуту, когда вошел палач, художник как раз набрасывал то место шеи, по которому должно было пройти лезвие гильотины.

Молния сверкала, шел дождь, гремел гром, но ничто не могло разогнать любопытную толпу. Набережная, мосты, площади были запружены народом – гул толпы почти покрывал гул неба. Женщины, которых называли энергичной кличкой «лакомка гильотины», преследовали ее проклятиями, и гул ругательств доносился до меня, словно гул водопада.

Толпа волновалась уже задолго до появления осужденных. Наконец, словно роковое судно, борющееся с волнами, появилась тележка, и я увидел осужденную, которой не знал и раньше никогда не видел.

То была красивая девушка двадцати семи лет, с чудными глазами, с правильной формы носом, с красиво очерченным ртом. Она стояла с поднятой головой, не потому, что хотела высокомерно оглядывать толпу: ее руки связаны были сзади, и она вынуждена была поднять голову. Дождь перестал, но так как она простояла под дождем три четверти пути, то вода текла с нее и мокрое шерстяное платье обрисовывало ее очаровательную фигуру так, как будто она вышла из ванны. Красная рубашка, которую надел на нее палач, придавала ей

странный вид и особо подчеркивала великолепие этой гордой, решительной головы. Когда она подъехала к площади, дождь перестал и луч солнца, прорвавшись между двух облаков, осветил ее волосы, создав словно бы ореол.

Клянусь вам, что хотя эта девушка была убийцей и совершила преступление, правда, во имя человечества, и хотя я ненавидел это убийство, я не мог бы тогда сказать, был ли то апофеоз или казнь. Она побледнела при виде эшафота; бледность особенно оттеняла красная рубашка, которая доходила до шеи; но она тотчас же овладела собою и кончила тем, что повернулась к эшафоту и посмотрела на него улыбаясь.

Тележка остановилась. Шарлотта соскочила, не допустив, чтобы ей помогли сойти; потом она поднялась по ступеням эшафота, скользким после дождя. Она поднималась так скоро, как только это позволяла ей длина волочившейся рубашки и связанные руки. Она опять побледнела, почувствовав руку палача, который коснулся ее плеча, чтобы сдернуть косынку, закрывавшую шею, но сейчас же последняя улыбка скрыла ее бледность, и она сама, не дав привязать себя к позорной перекладине, в торжественном и почти радостном порыве вложила голову в ужасное отверстие. Нож скользнул, голова отделилась от туловища, упала на платформу и подскочила. И вот тогда, – слушайте, доктор, слушайте и вы, поэт, – тогда один из помощников палача, по имени Легро, схватил голову за волосы и из низкого желания подольститься к толпе дал ей пощечину. И вот от этой пощечины голова

покраснела. Я видел это сам – не щека, а голова покраснела, слышите вы? Не одна щека, по которой он ударил, а обе щеки покраснели одинаково – чувствительность жила в этой голове, она негодовала, что подверглась оскорблению, которое не входило в приговор.

Народ видел, как покраснела голова. Народ принял сторону мертвой против живого, казненной против ее палача. Ту т же толпа потребовала мести за гнусный поступок, и тут же негодяй был передан жандармам, которые отвели его в тюрьму.

Подождите, – сказал Ледрю, заметив, что доктор хочет говорить, – подождите, это еще не все.

Мне хотелось выяснить, что руководило этим человеком и побудило его совершить гнусный поступок. Я узнал, где он содержится, попросил разрешения посетить его, получил это разрешение и отправился к нему в аббатство.

Приговором революционного суда негодяй присужден был к трем месяцам тюремного заключения. Он не мог понять, почему его осудили за такой обыденный поступок, какой он совершил.

Я спросил, что побудило его совершить этот поступок.

– Что за вопрос! – сказал Легро. – Я приверженец Марата; я наказал ее – во имя закона, а затем я хотел наказать ее и за себя.

– Неужели же вы не поняли, – настаивал я, – что, проявив неуважение к смерти, вы совершили почти преступление?

– Ну вот еще! – возразил Легро, пристально глядя на меня. – Неужели вы думаете, что они умерли, потому что их гильотинировали?

– Конечно.

– Вот и видно, что вы не смотрите в корзину, когда они там все вместе; что вы не видите, как они ворочают глазами и скрежещут зубами в течение еще пяти минут после казни. Нам приходится каждые три месяца менять корзину – до такой степени они портят дно своими зубами. Это, видите ли, куча голов аристократов, которые не хотят умирать, и я не удивился бы, если бы в один прекрасный день какая-нибудь из этих голов вдруг закричала бы: «Да здравствует король!»

Я узнал тогда то, что хотел знать. Я вышел, преследуемый одною мыслью: действительно ли эти головы продолжали жить? И я решил убедиться в этом.

VI. Соланж

Пока Ледрю рассказывал, настала ночь. Гости в салоне казались тенями, не только молчаливыми, но и неподвижными. Все боялись, что Ледрю прервется, ибо все понимали, что за этим страшным рассказом скрывается другой, еще более страшный.

Мы боялись дышать, не то что говорить. Только доктор открыл было рот, однако я схватил его за руку, чтобы помешать ему говорить, и он действительно промолчал.

Через несколько секунд Ледрю продолжал:

– Я вышел из аббатства и стал было пересекать площадь Таран, чтобы направиться на улицу Турнон, где я жил. Вдруг я услышал женский голос, звавший на помощь. То не были грабители: было едва ли десять часов вечера. Я подбежал на угол площади, где раздался крик, и при свете луны, вышедшей из облаков, увидел женщину, отбивавшуюся от патруля санкюлотов.

Женщина также увидела меня и, заметив по моему костюму, что я не совсем из народа, бросилась ко мне с криком:

– Да вот же Альберт, я его знаю. Он вам подтвердит, что я дочь тетки Ледье, прачки.

В эту минуту бедная женщина, бледная и дрожащая, схватила меня за руку и вцепилась в нее так, как хватается утопающий за обломок доски.

– Пусть ты дочь тетки Ледье, это твое дело, но у тебя нет пропуска, и ты должна пойти за нами на гауптвахту!

Женщина стиснула мою руку. Я уловил в этом пожатии ужас и просьбу. Я ее понял.

Она назвала меня первым пришедшим ей в голову именем, и мне пришлось последовать ее примеру.

– Как, это вы, моя бедная Соланж! – сказал я ей. – Что с вами случилось?

– А, вот видите, господа! – воскликнула она.

– Мне кажется, ты могла бы сказать: граждане.

– Послушайте, господин сержант, не моя вина, что я так говорю, – ответила девушка. – Моя мать работала у важных господ и приучила меня быть вежливой, и я усвоила эту, признаюсь, дурную привычку аристократов. Что же делать, господин сержант, если я не могу от нее отвыкнуть?

В этом ответе звучала незаметная ирония, которую понял только я. Я задавал себе вопрос, кто могла быть эта женщина. Невозможно было разрешить эту загадку.

Одно было несомненно: она не была дочерью прачки.

– Что со мною случилось, гражданин Альберт? – ответила она. – Вот что случилось. Представьте себе, я пошла отнести белье. Хозяйки не было дома, и мне пришлось ее ждать, чтобы получить деньги. Черт побери! В теперешние времена каждому нужны деньги. Наступила ночь, а я, полагая вернуться засветло, не взяла пропуска и попала к этим господам. Извините, я хотела сказать, гражданам. Они спросили

у меня пропуск, а я сказала, у меня его нет. Они хотели отвести меня на гауптвахту – я начала кричать, и тогда как раз подошли вы, мой знакомый. Теперь я успокоилась. Я сказала себе: так как господин Альберт знает, что меня зовут Со-ланж, знает, что я дочь тетки Ледье, он поручится за меня, не правда ли, господин Альберт?

– Конечно, я ручаюсь за вас.

– Хорошо, – сказал начальник патруля. – А кто за вас поручится, господин фронт?

– Дантон. С тебя этого довольно? Как вы думаете, он хороший патриот?

– А, если Дантон за тебя ручается, то против этого возра-зить нечего.

– Вот-вот. Сегодня день заседания в клубе кордельеров, идем туда.

– Идем, – сказал сержант. – Граждане санкюлоты, вперед, марш!

Клуб кордельеров находился в старом монастыре корде-льеров, на улице Обсерванс. Через минуту мы дошли туда. Подойдя к двери, я достал страницу из моего портфеля, на-писал карандашом несколько слов, передал сержанту и по-просил его отнести записку Дантону; мы же остались под охраной капрала и патруля.

Сержант вошел в клуб и вернулся с Дантоном.

– Что это, – воскликнул он, – тебя арестовали, тебя? Тебя, моего друга и друга Камиля! Тебя – лучшего из существую-

щих республиканцев! Позвольте, гражданин сержант, – прибавил он, обращаясь к начальнику санкюлотов, – я ручаюсь за него. Этого довольно?

– Ты ручаешься за него. А кто поручится за нее? – возразил упорный сержант.

– За нее? О ком говоришь ты?

– Об этой женщине, черт побери!

– За него, за нее, за всех, кто с ним, ты доволен?

– Да, я доволен, – сказал сержант, – особенно доволен тем, что повидал тебя.

– А, черт возьми! Это удовольствие я могу доставить тебе даром. Смотри на меня сколько хочешь, пока я с тобою.

– Благодарю. Отстаивай, как ты это делал до сих пор, интересы народа и будь уверен: народ тебе признателен.

– О да, конечно! Я на это рассчитываю! – сказал Дантон.

– Можешь ты пожать мне руку? – продолжал сержант.

– Отчего же нет? – И Дантон подал ему руку.

– Да здравствует Дантон! – закричал сержант.

– Да здравствует Дантон! – вторил ему патруль.

И патруль ушел под командой своего начальника. В десяти шагах он обернулся и, размахивая своей красной шапкой, прокричал еще раз:

– Да здравствует Дантон!

И его люди повторили за ним этот возглас. Я хотел поблагодарить Дантона, как вдруг его несколько раз окликнули по имени из помещения клуба.

– Дантон! Дантон! – кричали голоса. – На трибуну!

– Извини, мой милый, – сказал он мне, – ты слышишь? Жму твою руку и ухожу. Я подал сержанту правую руку, тебе подаю левую. Кто знает, у благородного патриота, быть может, чесотка.

И, повернувшись, сказал:

– Иду! – Он сказал это тем мощным голосом, который поднимал и успокаивал бурную толпу на улице. – Иду, подождите!

Он ушел в помещение клуба, я остался у дверей наедине с незнакомкой.

– Теперь, сударыня, – сказал я, – куда проводить вас? Я к вашим услугам.

– К тетке Ледье, – ответила она со смехом. – Вы ведь знаете, что она моя мать.

– Но где она живет, эта тетка Ледье?

– Улица Феру, двадцать четыре.

– Пойдемте к тетке Ледье на улицу Феру, двадцать четыре.

Мы пошли по улице Фоссе-Монсие-ле-Пренс до улицы Фоссе-Сен-Жермен, потом по улице Пети-Лион, потом через площадь Сен-Сюльпис на улицу Феру. Всю дорогу мы молчали. Только теперь при свете луны, которая взошла во всей своей красе, я мог хорошо рассмотреть свою спутницу.

То была прелестная особа, лет двадцати или двадцати двух, брюнетка с голубыми глазами, скорее умными, чем грустными; нос прямой и тонко очерчен; насмешливые губы,

зубы как жемчуг; руки королевы, ножки ребенка – и все это даже в вульгарном костюме тетки Ледье носило аристократический отпечаток, что и вызвало сомнения храброго сержанта и его воинственного патруля.

Мы подошли к двери, остановились и некоторое время молча смотрели друг на друга.

– Ну, что вы мне скажете, мой милый господин Альберт? – улыбнулась мне незнакомка.

– Хочу вам сказать, моя милая мадемуазель Соланж, что не стоило встречаться, чтобы так скоро расстаться.

– Прошу у вас тысячу извинений, но очень стоило. Если бы я вас не встретила, меня отвели бы на гауптвахту, там бы открыли, что я не дочь тетки Ледье, что я аристократка, и отрезали бы, вероятно, голову.

– Итак, вы сознаетесь, что вы аристократка?

– Я ни в чем не признаюсь.

– Хорошо, скажите мне, по крайней мере, ваше имя.

– Соланж.

– Вы же знаете, я случайно назвал вас так, это не ваше настоящее имя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.